

Его рождение было необычно; и потому он всей душой любил незыблемый обычай, завет и запрет.

Юношей, в порыве гнева, он убил; и потому лучше иных, неискушенных, знал, что убийство лакомо, но быть убийцей — ни с чем не сравнимая мерзость, и твердо помнил: не убий.

Его горячила чувственность, и потому он тянулся к духовному, чистому и святому, иначе: к незримому — ибо незримое представлялось ему святым, духовным и чистым.

У мидеанитов,[1 - Мидеан — страна в северо-западной Аравии, у Красного моря, в древности населенная арабским пастушеским племенем мидеанитян, по преданию, потомками Мидеана, сына патриарха Авраама.] непоседливых пастухов и торговцев пустыни, к которым он пристал, когда свершил убийство и должен был бежать из Египта, земли, где он родился (но о подробностях его рождения — ниже), — он узнал о боге, которого нельзя видеть, но который видит тебя. Этот бог обитает в горах, но в то же время и незримо восседает в шатре, на переносном ковчеге и, меча жребий, безгласно прорицает грядущее. Для сынов Мидеана этот бог, нареченный именем Иегова,[2 - Иегова — первоначально бог-покровитель племени Иуды, а также некоторых других родственных ему кочевых племен, дух пустыни, обитавший на вершинах гор. Впоследствии — верховное божество в иудаизме, символ национальной идеи древних иудеев при завоевании ими земли Ханаанской.] был всего лишь богом среди других божеств; они не слишком задумывались над тем, как должно ему служить, да и вспоминали-то о нем скорее из осторожности, на всякий случай. «А вдруг, — пришло им в голову, — среди прочих богов есть один, безобразный и безликий, которого люди не видят?» И они стали приносить ему жертвы, дабы ни перед кем не согрешить, никого не обидеть и тем самым обезопасить себя от любой напасти, откуда бы она ни грозила.

Не то Моисей. В силу владевшего им влечения к чистому и святому он проникся безмерным благоговением к незримости Иеговы и укрепился в мысли, что никто из зримых божеств не может сравниться в святости с Незримым, и весьма дивился, что сыны Мидеана не оценили по достоинству того свойства, которое ему, Моисею, представлялось исполненным глубочайших тайносплетений. В пустыне, где он пас овец брата жены своей, мидеанитки, и где его посещали грозные наития и откровения, однажды даже вырвавшиеся из недр груди его и представшие ему в виде пламенного лика и внятного наказа, настойчиво обращенного к его душе, — Моисей путем долгих упорных и беспощадных раздумий пришел к убеждению, что Иегова не кто иной, как Эль Эльон — всевышний, Эль Рои — «Бог, очи коего зрят меня», как тот, что издревле зовется Эль Шаддай — «Бог Горы», или Эль Олам — «Бог вселенной и вечности», — словом, не кто иной, как бог Авраама, Исаака и Иакова, «Бог праотцев» — праотцев его нищих, темных, безнадежно запутавшихся в своих верованиях родичей, давно поработанных и признавших домом своим землю Египетскую, чья кровь — с отцовской стороны — текла в его, Моисеевых, жилах.

И вот, переполненный этим открытием, с тяжким бременем долга на душе, но весь дрожа от нетерпения выполнить наказ, он, после многих лет, проведенных у сынов Мидеана, посадил на осла жену свою Сепфору (она была знатного рода, дочерью жреца и царя Рагуила и сестрою сына его Иофора, хозяина стад), забрал двух своих сыновей, Гершона и Елеазара, и пустился в обратный путь, в землю Египетскую, что лежит на востоке, в семи долгих днях пути через великую пустыню, — к непаханным низовьям Нила, где река разделяется на рукава и где в округе Кос, именуемой также Гошем, Госем и Гошен,[3 -

Гошен — округ в северо-восточном Египте, который, по библейскому преданию, был отведен фараоном для поселения отца и братьев Иосифа по прибытии их в Египет [Библия, Книга бытия, XV, 10].] жила и тяжело трудилась кровь его отца.

Там он тотчас же, где только мог — в хижинах, на пастбищах и на работах, — начал изъяснять тем, в ком текла эта кровь, великий смысл своего постижения, при этом он, по привычке, всякий раз потрясал кулаками, не отрывая от тела опущенных рук. Он возвещал, что бог их праотцев вновь отыскался, что он явился ему, Мошэ бен Амраму, на горе Ор в пустыне Син, из среды тернового куста, который горел огнем, не сгорая, что имя его — Иегова, а это означает «я есмь сущий от века до века», но также и «дыхание ветра» и «неистовый ураган», и что он, Иегова, возлюбил их кровь и готов поставить с ними свой завет и избрать их среди всех народов, на одном, однако, условии: они должны клятвенно посвятить себя ему, и только ему, заключив между собою союз для безобразного служения Незримому и не помышляя об ином поклонении.

Он неотступно буравил их души такими речами, и его кулаки не переставали содрогаться на невиданно широких запястьях. Всего, однако, он им не поведал, утаив от них многое и едва ли не самое важное, ибо боялся смутить и отпугнуть их. О тайносплетениях незримости, то есть о духовности, чистоте и святости, он не обмолвился ни единым словом, предпочтя не уяснять им, что, поклявшись служить Незримому, они должны обособиться, стать народом духовности, чистоты и святости. Из тревоги умолчал он об этом, из опасения их испугать: ведь они, эта кровь отца его, были столь жалкой, столь приниженной и запутавшейся в своих верованиях плотью, что он не мог им доверять, хотя и любил их. И когда он им говорил, что Незримый, что бог Иегова возлюбил их, он вселял в Господа чувства и в уста его вкладывал речи, которые, быть может, и были господними чувствами и речами, но не в меньшей мере принадлежали и ему, Моисею: ведь это он сам возлюбил кровь отца своего, подобно тому как не может не возлюбить ваятель бесформенную глыбу, из которой его руки сотворят высокий и прекрасный образ; и отсюда дрожь нетерпения, которая, вместе с осознанием великой тяжести господнего наказа, переполняла его душу в час, когда он уходил из Мидеана.

Впрочем, он утаил от них и вторую половину наказа. Ибо наказ был двойной и гласил, что Моисей должен не только возвестить своим родичам о вновь обретенном боге праотцев и о его к ним благоволении, но и вывести их из Египта, из дома рабства — на свободу, и привести чрез великую пустыню в Землю обетованную — в землю Авраама, Исаака и Иакова. Этот наказ и возвещение о боге стояли рядом и неразрывно переплелись один с другим. Бог и обретение свободы для исхода на родину; бог и избавление от чужеземного ига — в глазах Моисея это было одной и той же мыслью. Но народу он об этом пока не говорил, ибо знал: второе неизбежно последует за первым, и еще потому, что надеялся сам испросить «второе» у фараона, царя египетского, который был не вовсе чужим Моисею.

Но то ли народу не понравились его речи, ибо говорил он плохо, запинаясь и часто не находя верного слова, то ли в дрожи, сотрясавшей его кулаки, они почували тайносплетения незримости и того завета, который хотел с ними поставить Господь, и догадывались, что Моисей толкает их на дела трудные и опасные, — так или иначе, на его неотступные увещания они отвечали недоверием, страхом и жестоковейным упорством и, озираясь на приставников фараона, цедили сквозь зубы:

— Зачем ты разглагольствуешь, заикаясь? И к чему слова твои? Или кто-нибудь поставил тебя старшим и судьей над нами? Кто бы это, любопытно узнать?

Он не удивился их ропоту. Ему уже довелось слышать от них такие речи до того, как он бежал в Мидеан.

Его отец не был ему отцом, и его мать не была ему матерью — столь необычно было его рождение. Вторая дочь фараона Рамессу гуляла со своими прислужницами в царском саду на берегу Нила под присмотром вооруженных телохранителей. Там заметила она водоноса-еврея, и вождение охватило ее. У него были грустные глаза, юношеский пушок на подбородке и сильные руки, напряженные от ноши... Он трудился в поте лица своего и жил заботами каждого дня, но для дочери фараона он был воплощением красоты и прельстительного мужества, и она повелела привести его к ней в беседку. Своими дивными ручками она взъерошила его волосы, влажные от пота, целовала мышцы его рук и раздражила его мужское естество. И он взял ее, царскую дочь, раб-чужеземец. Получив все сполна, она позволила ему уйти, но не прошел он и тридцати шагов, как его убили и тотчас скрыли в земле, и не осталось и следа от нежной прихоти дочери Солнца.[4 - ...дочери солнца — в древнем Египте фараон считался земным воплощением бога солнца и назывался «сыном Ра».]

— Бедняга, — сказала она, узнав о случившемся. — Всегда-то вы переусердствуете. Уж он бы наверное молчал. Ведь он любил меня.

Но она понесла во чреве своем и спустя девять месяцев в величайшей потайности родила на свет мальчика, и прислужницы положили его в просмоленную корзинку из тростника и спрятали корзинку в камышах у берега реки. Там они же нашли ее и, найдя, воскликнули:

— О, чудо! Найденыш в камышах, крохотный подкидыш! Словно в старинном сказании, точь-в-точь как было с Саргоном,[5 - Саргон I (Шаррукин, около 2800 г. до н. э.) — древний царь Аккада в Вавилонии, завоеватель северной Месопотамии, объединивший под своей властью Южное Двуречье. Здесь имеется в виду легенда об его происхождении, напоминающая библейское предание о Моисее: мать Саргона пустила младенца в осмоленной корзинке по течению реки, где его нашел и воспитал жрец.] которого Аккиводонос нашел в камышах и вырастил в доброте сердца своего. Все повторяется вновь и вновь! Но что нам делать с этой находкой? Отдадим-ка его какой-нибудь простой женщине, матери, которая сама кормит, а молоко у нее остается, и пусть он растет, будто он родной ее сын, — ее и законного ее мужа, — так будет всего разумнее.

И они положили ребенка на руки одной еврейке, и она унесла его в округу Гошен, к Иохаведе, жене Амрама из колена Леви. Она кормила сына своего Аарона, и у нее оставалось молоко; по этой причине и еще потому, что время от времени посланец царской дочери приносил тайком в ее хижину разное добро, она растила чужого ребенка в доброте сердца своего. Так Амрам и Иохаведа стали его родителями в глазах людей, а Аарон — его братом. У Амрама были волы и пашня. Иохаведа же была дочерью каменотеса. Они не знали, как им назвать бог весть откуда взявшегося мальчонку, и потому дали ему полуегипетское имя, вернее, всего лишь половину египетского имени. Ибо часто сыновья той земли звались Птах-Мошэ,[6 - Птах — древнеегипетское божество, владыка подземного мира и судья мертвых, покровитель ремесл и искусств, основатель городов и храмов; культ его впервые возник в Мемфисе.] Амон-Мошэ[7 - Амон, или Аммон — бог солнца, которому поклонялись в Фивах. В эпоху XXI династии фиванские первосвященники Аммона захватили царскую власть и объявили Аммона верховным божеством Египта.] или Ра-Мошэ,[8 - Ра (или Тум) — одно из главных божеств древнеегипетской религии, олицетворение солнечного диска, культ которого распространился из города Он (Гелиополис). Во времена Среднего царства Ра начали

отождествлять с Аммоном и чтить под именем Аммона-Ра.] то есть сыновьями богов, чтимых в Египте. Но Амрам и Иохаведа нашли разумным опустить имя бога и назвали мальчика просто Мошэ — Моисей. Итак, он был «сыном»,[9 - ...он был «сыном»... — имя Моше, по преданию, искаженное египетское «мессу» — сын.] но чьим — неизвестно.

III

Он рос среди пришлого племени и изъяснялся на его языке. Предки этих колен, «голодные бедуины из Эдома»[10 - Эдом, или Идумея — гористая часть Аравийской пустыни, в древности населенная племенем эдомитян, по преданию, потомков Исава, сына патриарха Исаака.] (как назвал их писец фараона), однажды, во время засухи, пересекли с дозволения пограничных властей рубеж земли Египетской, и для пастбищ им была отведена округа Гошен в низовьях реки. Тот, кто подумал бы, что евреям разрешили пасти стада свои безвозмездно, плохо знаком с нравом сынов земли Египетской. Мало того, что евреи платили подать скотом, и подать нелегкую, всяк из них, не знающий немоги, был к тому же обязан нести трудовую повинность, рабскую службу на всевозможных стройках, а они никогда не прекращались в такой стране, как Египет. Особенно много стали строить с тех пор, как Рамессу,[11 - Рамессу II Строитель («Рамессу» — сын Ра, конец XIV — начало XIII вв. до н. э.) — один из наиболее прославленных египетских фараонов, завоеватель южной Сирии, Палестины и государства хеттов, строитель Рамессума (храма-усыпальницы фараона) и столицы Анахту в Танисе, а также других храмов и дворцов.] второй из фараонов, носивших это имя, сел на престол в Фивах; то была его страсть и царственная услада. Он строил пышные храмы по всей стране, а в Нижнем Египте не только обновил и расширил длинный заброшенный канал, соединявший восточный рукав Нила с Горькими озерами и тем самым — Великое море с краешком Черного, но вдобавок еще воздвиг на берегу канала два города-житницы — Питом и Раамсес.[12 - Питом и Раамсес — укрепленные пограничные города в древнем Египте, служившие складами продовольствия и базами военных операций для фараонов, когда они предпринимали свои походы в Азию.] Для этой-то цели и были согнаны сюда из Гошена эти иврим, потомки голодных бедуинов, чтобы они обжигали и носили кирпич, надрываясь и исходя потом под египетской палкою.

Впрочем, палка была скорее знаком отличия приставников фараона — рабов не били без надобности. К тому же их хорошо кормили: рыбы из Нила, хлеба, пива, говядины — всего было вдоволь. И тем не менее рабский труд был им мерзок, ибо в их жилах текла кровь кочевников и в памяти их хранилось предание о свободной, бродячей жизни: урочный, размеренный труд им был непривычен и оскорблял их сердца. Но для того, чтобы единодушно выразить свое недовольство и проявить согласную стойкость, различные колена этого племени были слишком слабо связаны друг с другом и слишком плохо сознавали свою общность. Много поколений отошло с тех пор, как они разбили шатры на одном из переходов меж родиной их праотцев и землей исконно египетской, и за эти долгие годы они стали племенем безобразно-зыбкой души, нетвердой веры и робкой мысли; многое они забыли, кое-что поверхностно переняли и, утратив связующий стержень, изверились в собственных чувствах — даже в гнездившейся в их сердцах яркой злобе на тех, кто принуждал их к подъяремной, рабской службе; впрочем, тут их сбивала с толку обильная пища: рыба, пиво, говядина.

Моисей, мнимый сын Амрама, войдя в возраст, тоже должен был бы обжигать кирпичи для фараона. Но случилось иначе: мальчика забрали у родителей и увезли в Верхний Египет, где его поместили в закрытое учебное заведение, предназначенное для отпрысков сирийских царьков и местной знати. Моисея определили туда потому, что его

кровная мать, дочь фараона, та, что его родила и велела спрятать в камышах, особа хоть и похотливая, но все же не бездушная, помнила о нем ради его убитого отца — водоноса с юношеской бородкой и грустными глазами — и не пожелала, чтобы он остался среди дикарей: пусть-де получит образование и займет подобающую должность при дворе — знак молчаливого полупризнания его божественной полукровности. И вот, облаченный в белые льняные ризы и с париком на голове, Моисей стал постигать науку о звездах и дальних странах, право и искусство письма. Но он не чувствовал себя счастливым среди щеголей благородного учебного заведения; он был одинок среди них, и ему претила вся эта египетская утонченность чувств, хоть именно ей он был обязан своим рождением. Кровь отца, принесенного в жертву этой похотливой утонченности, была в нем сильнее крови египетской царевны, и сердцем своим он льнул к тем слабовольным беднякам в стране Гошен, у которых не хватало мужества даже на то, чтобы разжечь в себе злобу. Да, он был с ними, вопреки любострастному зазнайству его матери.

— Так как же тебя зовут? — спрашивали его школьники.

— Мошэ, — отвечал он, — Моисей.

— Ах-Мошэ или Птах-Мошэ? — спрашивали они.

— Нет, просто Мошэ.

— Право, это как-то убого и странно, — задирали его эти хлыщеватые юнцы, и он свирепел до того, что готов был убить их собственными руками и скрыть в зыбучем песке. Ведь он хорошо понимал, что, задавая такие вопросы, мальчишки просто хотели покопаться в истории его необычайного происхождения, о котором смутно было известно каждому. Сам Моисей едва ли узнал бы, что он лишь тайный плод похотливой утонченности египетских нравов, если б об этом не знали все (хоть и не слишком достоверно), все, не исключая фараона, для кого веселое приключение его дочери осталось тайной не в большей степени, чем для Моисея то непреложное обстоятельство, что Рамессу Строитель — его дед по любострастию, по грубой усладе и смертоубийственной ее развязке. Да, Моисей это знал и знал, что знает об этом и фараон, и в помыслах своих угрожающе кивал головой в сторону фараонова трона.

IV

Так он прожил в Фивах два года, среди хлыщеватых своих однокашников, но потом не выдержал, перелез ночью через стену и бежал обратно в Гошен, к родичам своего отца. Там он мрачно бродил без дела и однажды на берегу канала, вблизи новостроек Раамсеса, увидел, как египетский приставник бьет палкой раба за нерасторопность, а возможно, и за строптивость. Побелев от ярости, с пылающими глазами, он крикнул египтянину: «За что?», но тот вместо ответа ударил его в переносицу, да так, что нос Моисея навсегда остался перебитым и приплюснутым. Тогда он вырвал палку из рук надсмотрщика, с чудовищной силой взмахнул ею и уложил египтянина на месте с разможенным черепом, мертвым. Он несколько раз огляделся, желая убедиться, что никто не видел его поступка. Но место было уединенное и поблизости — ни души. Тогда он один скрыл в песке убитого, ибо тот, за кого он вступился, бежал; и у него было такое чувство, будто он всегда таил в себе желание убивать и закапывать убитого в землю.

Этот взрыв ярости остался тайной, по крайней мере для египтян, которые так и не узнали, куда девался их человек. С того дня прошло несколько лет, а Моисей по-прежнему бродил без дела среди соплеменников своего отца и со свойственной ему властью

вмешивался в их дела и распри. Однажды у него на глазах жестоко поспорили два раба из числа иврим и уже готовы были подраться.

— Ну что вы бранитесь, — сказал он им, — и зачем хотите драться? Разве мало вам того, что вы убоги и заброшены? Вы — братья, родная кровь, и должны держаться вместе, а норвите вцепиться друг другу в глотку. Я видел, кто из вас не прав. Пусть он уступит и откажется от своих слов, а второй пусть над ним не глумится.

Но, как это часто бывает, они вдруг забыли о своей ссоре и вместе набросились на него: «Чего суешься в наши дела?» Особенно нагло держал себя тот, кого Моисей признал неправым. Он орал во все горло:

— Нет, это уж слишком! Кто ты таков, чтобы совать свой козлиный нос во все, что тебя не касается? Да, да! Ты — сын Амрама, но этим сказано слишком мало! Ведь ни один человек, не исключая тебя самого, не знает толком, кто ты таков? Кто же поставил тебя господином и судьей над нами? Может, ты и меня хочешь убить, как — помнишь? — того египтянина, и скрыть тело мое в песке?

— Тише! — остановил его в испуге Моисей и подумал: «Как это могло выйти наружу?» И в тот же день решил, что ему нельзя оставаться в этой земле. Пересекши границу в том месте, где ее хуже всего охраняли — у Горьких озер, на отмелях, он прошел пустынными просторами земли Синай в Мидеан, к мидеанитам и к их жрецу и повелителю Рагуилу.

V

Когда он вернулся назад с душой, переполненной Богом и великим его наказом, он был муж в расцвете лет, кряжистый и скуластый, с проломленным носом, с раздвоенной бородой, широко расставленными глазами и могучими запястьями, что было особенно заметно, когда он в раздумии прикрывал правой рукой рот и бороду, а это случалось нередко. Из хижины в хижину переходил он, со стройки на стройку, и, плотно прижавши к бедрам кулаки, чтобы унять их дрожь, говорил о Незримом, о Боге праотцев, готовом поставить с ними свой завет, — говорил, хоть, собственно, и не умел говорить. Он и вообще-то часто запинаясь, а приходя в волнение, делался совсем косноязычен, и к тому же толком не знал ни одного языка и, пытаясь отыскать недостающее слово, рылся сразу в трех закромах. Арамейское наречие сиро-халдейского языка, бывшее в употреблении у крови его отца и перенятое им у своих названных родителей, было вытеснено египетским языком, который ему пришлось усвоить в фиванском училище, а к ним прибавился еще и арабский — на нем он объяснялся в пустыне у мидеанитов. И все это перемешалось у него в голове безо всякого порядка.

Очень во многом помогал ему его брат Аарон, высокий, мягконравный человек с черной бородой и черными, спадавшими на шею кудрями; его большие выпуклые глаза были чаще всего смиренно потуплены. Брату Моисей поведал все и даже приобщил его Незримому и всем тайносплетениям незримости, а так как из-под бороды Аарона текли умильные речи, Моисей почти всегда брал его с собой, когда отправлялся вербовать новых сторонников, и тот говорил вместо брата, — правда, слишком вкрадчиво, елеяно и недостаточно увлеченно, — так что Моисей, потрясая кулаками, пытался вдуть пламя в его слова и вдруг — бац! — перебивал его на своем арамейско-египетско-арабском наречии.

Жена Аарона звалась Элишеба, дочь Аминадава; она тоже принесла клятву Незримому и просвещала народ, как и младшая сестра Моисея и Аарона, Мариам, вдохновенная

женщина, умевшая петь и бить в литавры. Но особенно горячо привязался Моисей к одному юноше, который в свою очередь всей душою прилепился к нему, к его откровению и к его помыслам и не отходил от него ни на шаг. Собственно говоря, он звался Гошеа, сын Нуна[13 - Нун — древнеегипетское космическое божество, олицетворение небесного хаоса, океана, в котором пребывали все живые существа до сотворения мира.] (что значит «Рыба»), из колена Ефремова.[14 - ...из колена Ефремова — колена это вообще отличалось воинственным духом; впоследствии, при завоевании земли Ханаанской, солдаты для войска израильского вербовались преимущественно из его среды.] Но Моисей нарек его именем Иеговы — Иегошуа, или, сокращенно, Иошуа, и свое имя он носил с гордостью, этот статный молодой человек с кудрявою головой, крутым кадыком и двумя резко прочерченными морщинами меж бровей. У него было свое, особое воззрение на дело — не столько религиозное, сколько военное: ибо для него Иегова, бог праотцев, был прежде всего богом воинств, и связанная с господним именем мысль об исходе из дома рабства для Иошуа совпадала с мыслью о завоевании новой, собственной земли для еврейских колен, потому что где-то они должны были поселиться, а ни одна страна, обетованная или не обетованная, не будет принесена им в дар. Вполне разумное рассуждение.

Как ни был он молод, но все, что относилось к делу, Иошуа держал в своей кудрявой, высоко поднятой голове с пристально глядящими глазами и неустанно обсуждал предстоящее с Моисеем, своим старшим другом и господином. Не имея средств и возможности произвести точную перепись еврейских племен, он подсчитал, что число тех, кто разбил шатры в Гошене и томился в городах-житницах, Питоме и Раамсесе, а также их братьев, несших рабскую службу по всей стране, едва-едва достигает двенадцати — тринадцати тысяч, а это могло составить примерно три тысячи мужчин, способных носить оружие. Впоследствии названные цифры были преувеличены сверх всякой меры, но Иошуа знал их довольно твердо и не был ими доволен. Три тысячи человек — не слишком грозная сила, даже если рассчитывать на то, что кочующая в пустыне родная кровь в пути присоединится к ядру еврейского воинства и двинется вместе с ним на завоевание новых земель. Располагая такою силой, нечего и думать о великих начинаниях — вторгнуться с ними в Землю обетованную было невозможно. Иошуа это понимал, а потому думал о каком-нибудь месте на воле, где племя могло бы поначалу обосноваться и где, в сравнительно сносных условиях, оно бы приумножилось в силу естественного прироста, каковой (насколько Иошуа знал свой народ) составлял в год два с половиной человека на сотню. Место для такого заповедника и питомника, где возросла бы их воинская сила, юноша и высматривал и об этом совещался с Моисеем; попутно выяснилось, что он поразительно ясно представляет себе взаимное расположение разных стран и держит в голове своего рода карту пригодных стоянок с указанием числа дневных переходов, водопоев, а главное, боеспособности населения.

Моисей знал, кого он обрел в лице Иошуа, знал в полной мере, как тот будет ему необходим, и любил его рвение, хоть все то, о чем не уставал говорить Иошуа, его, Моисея, почти не занимало. Прикрыв правой рукою рот и бороду, он слушал, как юноша развивает свои стратегические замыслы, сам же думал совсем о другом. Для него, посланца Незримого, Иегова тоже означал исход, но не столько для вооруженного захвата новых земель, сколько исход на волю, в обособленность от прочих народов, чтобы где-то там, на свободе, он, Моисей, остался наедине со всей этой беспомощной, безнадежно сбитой с толку плотью, с этими обильными семенем мужчинами, с женщинами, чьи груди налиты молоком, с пытающими свою силу юношами, с сопливыми ребятишками, словом — с кровью своего отца, и мог бы утвердить в их сердцах святонезримого Бога, чистого и духовного, сделав для них бога этого объединяющим, зиждущим средоточием, и по образу его сотворить из них народ, отличный ото всех других, народ господень, отмеченный истинной святостью и духовностью и превосходящий все прочие племена и языки благоговением, воздержностью и страхом

божиим, сиречь: страхом перед самим понятием чистоты, перед заветом, который в будущем укротит своеволие всех племен, ибо Незримый по сути есть бог вселенский, но они его завет примут первыми, и в том великая их предпочтенность перед язычниками.

Такова была любовь Моисея к отцовской крови, — любовь ваятеля, — и она для него совпадала с благостным избранием господним и его готовностью поставить с ними свой завет. И так как он твердо полагал, что преображение по подобию божиему должно предшествовать всем начинаниям, которые держал в своей голове юный Иошуа, и что для этого потребно время — свободное время, где-то там, на свободе, — его не огорчало, что замыслы Иошуа еще далеки от осуществления и что у них слишком мало мужчин, способных носить оружие. Иошуа было потребно время для того, чтобы, во-первых, приумножился народ естественным путем, и еще для того, чтобы он сам возмужал и был признан достойным полководцем, Моисею же — для преображения его соплеменников — этой вожденной работы ради вящей славы господней. И, приступая по-разному к общей задаче, они были единокорны,

VI

Итак, посланец Незримого, — вкуче с ближайшими своими приверженцами: красноречивым Аароном, Элишебой, Мариам, Иошуа и неким Халевом, ровесником и закадычным другом Иошуа, как и он, сильным, простодушным и храбрым, — не теряя ни единого дня, нес своим весть об Иегове, о почетной готовности Незримого поставить с ними свой завет и разжигал в то же время их ненависть к работе под египетской палкой, внушая всем и каждому мысль о свержении позорного ига и об исходе из Египта. Все они действовали как умели: Моисей запинаясь и потрясал кулаками, с уст Аарона плавно лились кроткие речи, Элишеба трещала без умолку. Иошуа и Халев бросали отрывистые призывы, более всего походившие на команды, а Мариам, которую скоро прозвали «пророчицей», сопровождала свои слова, звучащие так торжественно, ударами в литавры. И проповедь эта падала не на бесплодную почву: мысль о том, чтобы поклясться в верности Моисееву богу и его завету, посвятить себя Незримому и под водительством его и его посланца совершить исход на волю, пустила корни среди колен еврейских рабов и постепенно превратилась в стержень, связующий их воедино; а тут еще Моисей им обещал или по меньшей мере их обнадежил, что будет ходатайствовать перед верховной властью и испросит для всех разрешения покинуть землю Египетскую, так что их исход будет уже не безрассудным бунтом, а совершится мирно, с обоюдного согласия. Они слышали, хотя лишь краем уха, о его полуегипетском происхождении, о том, что он был найден в камышах, об утонченном воспитании, от которого он некогда вкусил, и о каких-то его связях при дворе фараона. И то, что прежде было причиной недоверия — египетская полукровность Моисея, — теперь стало источником упований и укрепляло его авторитет. Поистине, если кто мог отстоять их общее дело перед фараоном, так разве что Моисей. Ему-то они и поручили убедить Рамессу, Строителя и Властелина, отпустить их на волю, — ему и его молочному брату Аарону, ибо Моисей решил взять себе в помощь Аарона, во-первых, потому, что сам не умел говорить связно, Аарон же умел, а во-вторых, потому, что тот знал кое-какие хитрости, которые должны были произвести впечатление при дворе и прославить имя Иеговы: так, к примеру, он стискивал рукою затылок кобры, и та выпрямлялась, как палка, а потом швырял эту палку оземь, и она свертывалась кольцом и опять «превращалась в змею». Ни Моисей, ни Аарон не приняли в расчет, что это чудо известно и магам фараона, а потому не сможет послужить столь уж разительным доказательством всемогущества Иеговы.

Вообще счастье им не улыбалось, как ни хитроумно было решение, вынесенное на военном совете, в котором приняли участие также юные Иошуа и Халев. Было

постановлено: испросить у царя дозволение собраться всем коленам их племени и уйти в пустыню, на расстояние трех дней пути от границы, чтобы там совершить торжественное служение Господу и принести ему жертву — по его же вышнему повелению, — после чего они вновь вернутся на работу. Едва ли кто-нибудь ожидал, что фараон даст обмануть себя такой уловкой и поверит, будто они и в самом деле возвратятся. То была попросту благоприлично-учтивая форма, в которую обрядили ходатайство об исходе. Но царь не оценил их учтивости.

Однако некоторого успеха братья все же достигли: они проникли в «большой дворец» и предстали пред фараоновым престолом — и не единожды, а вновь и вновь, покуда медленно и упорно тянулись переговоры. Обещание, данное Моисеем своим единоплеменникам, не было бахвальством: он твердо полагался на то, что Рамессу — его дед по тайному любострастию (а это царем ревниво таилось), как и на то, что каждый из них знает, что это ведомо им обоим. То было действенным средством понуждения в руках Моисея, и если его и недостало на то, чтобы царь согласился выпустить их из земли Египетской, оно все же позволяло Моисею вести переговоры с верховной властью и раз за разом открывало ему доступ к владыке, ибо царь его боялся. Впрочем, страх государя опасен, и Моисей все время играл рискованную игру. Но он был отважен; до чего отважен и сколь впечатляла Моисеева отвага его соплеменников — об этом мы вскорости услышим. Ведь фараону ничего не стоило втихомолку его задушить и тело сокрыть в песке, чтобы наконец-то доподлинно не осталось следа от причуды дочерней похоти. Но царевна сохранила сладостное воспоминание о том кратком часе в беседке и ни за что не давала в обиду свое дитя, найденное в камышах, — он был под ее защитой, хоть и ответил черной неблагодарностью на все ее заботы о его воспитании и житейских успехах.

Итак, Моисей и Аарон получили право стоять перед фараоном, но в празднике и в жертвоприношении на воле, за пределами Египта, к которому Господь якобы призывал евреев, им было отказано наотрез. Напрасно текли складные речи с уст Аарона, а Моисей страстно потрясал кулаками. Не помогло и то, что Аарон обратил свой жезл в змею: маги фараона немедленно сделали то же самое, доказав, что Незримый, во имя которого ратуют оба брата, вовсе не обладает какой-то особенной силой, а потому фараон не должен внимать голосу этого бога.

— Да ведь наше племя поразит язва или меч, если мы не углубимся в пустыню на три дневных перехода и не устроим там празднества Господу, — сказали братья.

Но царь ответил:

— Нам это безразлично. Вас достаточно много, больше двенадцати тысяч голов, и будет вовсе неплохо, если вы поуменьшитесь в числе, от чумы ли, от меча или от непосильной работы. Тебе, Моисей, и тебе, Аарон, важно только одно: чтобы ваши люди бездельничали, отлынивая от возложенной на них трудовой повинности. Этого я не потерплю и не позволю. У меня еще не достроено несколько храмов, а вслед за этим я хочу возвести третий город-житницу, помимо Раамсеса и Питома и в добавление к ним. А для этого мне потребуются руки ваших людей. Благодарю за доклад. Тебя, Моисей, я отпускаю с чувством особой благосклонности. Но ни слова больше о празднике в пустыне.

На том и закончилась эта аудиенция. Ничего хорошего за нею не воспоследовало, напротив — произошло явное и неоспоримое зло. Ибо фараон, оскорбленный в своей ревности к строительству, раздосадованный тем, что не может прикончить Моисея, и опасаясь скандала, который бы ему учинила в этом случае строптивая дочка, отдал приказ еще более тяжело придавить работой обитателей Гошена и не жалеть палок для

нерадивых; нужно задать им такой урок, чтобы у них потемнело в глазах и все праздные мечты о богослужении в пустыне разом вылетели из их голов. Так все и вышло. День ото дня, покуда длились переговоры Моисея и Аарона с царем египетским, ярмо рабской службы становилось все тяжелее. Так, к примеру, людям перестали выдавать солому для обжига кирпичей, и теперь они сами должны были бродить по жнивью и собирать солому, хотя положенное число кирпичей осталось прежним и нужно было выполнять урок, — в противном же случае палка не уставала гулять по спинам несчастных. Тщетно еврейские старшины и надсмотрщики, поставленные над народом, жаловались властям на непомерно высокие требования. Ответ гласил: «Вас одолела праздность, праздность вас одолела, вот почему вы и вопите: «Хотим уйти отсюда! Хотим принести жертву!» Так добывайте же сами солому и при этом — ни единым кирпичом меньше».

VII

Для Моисея и Аарона это было немалой помехой. Старшины им говорили:

— Ну, дождались! Вот что мы получили, связавшись с вашим богом и полагаясь на высокое родство Моисея! Ничего вы не добились, а только сделали нас ненавистными в глазах фараона и его приставников... Вы вложили им в руку меч, который нас истребит.

На это было трудно ответить, и Моисей провел тягостные часы один на один с Богом тернового куста, упрекая его, и понуждал вспомнить, как он, Моисей, противился, не желая брать на себя его наказа, как он молил послать кого-нибудь другого, только не его: ведь он и говорить-то толком не умеет; Господь же на это ответил: зато-де Аарон красноречив. Верно! Он легко произносит речи, но уж слишком елейные, и разве не ясно, что никогда не следует браться за подобное дело, ежели язык твой неповоротлив и тебе приходится просить кого-то еще высказать за тебя твои мысли. Но Бог утешал и наказывал его из глубины груди его и оттуда вещал в ответ: «Стыдись своего малодушия! Твои жалобы и отговорки — одно жеманство! В сердце своем ты только и мечтал о моем наказе, ибо любовь твоя к народу — любовь ваятеля, и она столь же велика, как моя любовь, ее не отличишь от моей: обе они сливаются в одну. Да, любовь Бога — вот что подвигало тебя на труды, и стыдно отчаиваться при первой же неудаче!»

Эти слова Моисей должен был выслушать с тем большим смирением, что на военном совете они все вместе — он сам, Иошуа, Халев, Аарон и вдохновенные жены — пришли к заключению, что если вдуматься, то новые притеснения, какое б они ни рождали недовольство в народе, по сути — не столь уж нежеланны поначалу: ведь они пробуждают недовольство не только против Моисея, но прежде всего против египтян, и лишь заставят народ тем более горячо откликнуться на призыв Бога-избавителя, иначе — на мысль об исходе. Так оно и случилось: волнения из-за соломы и кирпичей все возрастали, и упреки Моисею, который-де сделал их ненавистными в глазах фараона и только повредил им, отступили перед желанием, чтобы сын Амрама еще раз пустил в ход свои связи и снова пошел к фараону.

И он пошел, на сей раз уже один, без Аарона, не думая о неповоротливом своем языке; он потрясал кулаками перед тронном и, запинаясь, торопливо глотая слова, настойчиво требовал царского изволения на исход его соплеменников в пустыню, на волю, для жертвоприношения и богоугодного праздника. И не один, а десять раз приходил он к фараону, ибо царь не мог закрыть ему доступ к своему престолу — слишком могущественны были связи Моисея. Между ним и царем завязалась борьба, затяжная и упорная; и если она и не склонила фараона уступить дерзким Моисеевым требованиям, то привела к тому, что сами египтяне в один прекрасный день скорее вытолкали,

прогнали взашей обитателей Гошена, нежели отпустили их добром, — лишь бы только от них избавиться. Об этой борьбе и мерах понуждения, примененных к упорствующему фараону, было много всяких толков, хотя и не лишенных основания, но сильно раздутых и приукрашенных. Говорят о десяти казнях, к которым поочередно присуждал Иегова Египет, чтобы сломить фараона, в то же время нарочито ожесточая его сердце против замысла Моисея, дабы он, Иегова, имел повод все к новым казням и тем все более грозно утверждал свое могущество. «Кровь», «жабы», «мошки», «дикое зверье», «парша», «мор», «град», «саранча», «тьма» и «смерть первенцев» — вот как называются эти десять казней, и ни в одной из них нет чего-либо невозможного. Вопрос только в том, насколько они (исключая последнюю — загадочную и до конца так и не раскрытую) способствовали достижению искомой цели. Нил время от времени и вправду принимает кроваво-алую окраску, вода его ненадолго становится непригодной для питья, и рыба в ней погибает. Точно так же случается, что болотные жабы вдруг умножатся сверх всякой меры или что вши, которые никогда совсем не исчезают, неожиданно появляются в чудовищном количестве, наводя на мысль о каре за прегрешения. В ту пору и львов было гораздо больше, чем теперь; они бродили по окраинам пустыни или подстерегали добычу в зарослях вдоль пересохших рукавов реки, и когда число их нападений на человека и скот разительно возрастало, это тоже можно было назвать «казнью». А как часто поражает сынов земли Египетской чесотка или парша и как легко нечистоплотность приводит к злобным язвам, которые не щадят никого, словно чума! Небо в той земле почти всегда ясно — тем большее впечатление там производят редкие, но свирепые бури, когда огонь из облаков сопровождается падением тяжелых зерен града, побивающих посевы и срывающих с деревьев листву, — и все это — без какой-либо понятной людям цели! Саранча — слишком хорошо знакомый гость, и человек придумал немало отпугивающих и ограждающих средств против ее налетов, но ее алчность пересиливала все препоны, и каждое поле превращалось в сожранную догола пустыню. А тому, кто хоть раз испытал страх и тоску при затмении солнца, легко понять, почему избалованный светом народ назвал эту тьму все тем же словом: «казнь».

Этим бедствия, о которых говорится в преданиях, собственно, исчерпываются, ибо десятое бедствие — смерть первенцев — по сути не входит в их число, а представляет собой двусмысленное и жуткое привходящее обстоятельство самого исхода. Все прочие беды могли и вправду случиться — иные из них или даже все, наверное, и в самом деле случились, коль скоро речь идет о значительном отрезке времени. Но вернее было бы смотреть на все эти «казни» как на изящное иносказательное обозначение единственного действенного средства понуждения, которым располагал Моисей в своей борьбе с Рамессу, короче говоря — как на обозначение того обстоятельства, что фараон был его дедом по любовострастию, о чем Моисей мог в любой миг раструбить повсюду. Не раз царь был близок к тому, чтобы поддаться его натиску, во всяком случае он шел на большие уступки. Рамессу соглашался отпустить мужчин на празднество жертвоприношения с тем чтобы женщины, дети и стада остались на месте. Однако Моисей возразил: «Нет! Стар и млад, с сыновьями и дочерьми, с овцами и волами, должны мы выйти, ибо это праздник господень!» Тогда фараон разрешил им взять с собою жен и детей, и только скот должен был остаться залогом в земле Египетской, но Моисей спросил фараона: откуда ж они возьмут жертвы для мирного заклания и всесожжения в праздник господень, ежели у них не будет скота. «Ни одного копыта, — настаивал он, — не должно здесь остаться», — и всем стало доподлинно ясно, что речь шла не об отлучке или же отпуске, а именно об исходе.

Из-за помянутого копыта между его египетским величеством и посланцами Иеговы под конец разыгралась бурная сцена. На всем протяжении переговоров Моисей выказывал величайшее долготерпение, хотя не в меньшей мере был наделен от природы и вспыльчивостью, заставлявшей его так яростно потрясать кулаками. Дошло до того, что фараон не выдержал и буквально выгнал его из тронной залы.

— Прочь, — закричал он, — и смотри не попадайся мне больше на глаза! А не то умрешь лютой смертью!

Моисей был возбужден до крайности, но, внешне храня полное спокойствие, ответил только:

— Ты сказал. Я уйду и никогда больше не покажусь тебе на глаза.

То, о чем подумал он в минуты этого грозного, холодного прощания, было не в духе его помыслов. Но тем более в духе помыслов юных Иошуа и Халева.

VIII

Мы подошли к самой темной главе нашей повести; в ней не обойтись без недомолвок и туманных намеков. Пришел день, точнее же — ночь или злосчастный вечер, когда Иегова (или его Ангел-губитель) явился и присудил египтян (вернее, египетскую прослойку среди обитателей Гошена и городов Питом и Раамсес) к последней, десятой казни, пропуская и щадя те хижины и дома, где, дабы он не ошибся, дверные косяки были, как условлено, намазаны кровью.

Что же он сделал? Он сеял смерть, смерть первенцев в египетских семьях. При этом он явно шел навстречу кое-каким тайным упованиям и помогал кой-кому из вторых сыновей обрести права, которых в противном случае они бы вовеки не получили. Различие между Иеговой и его Ангелом-губителем настойчиво отмечалось свидетелями; то был не Иегова, гласит предание, а именно его Ангел-губитель, вернее говоря — целый отряд тщательно подобранных ангелов-губителей. Если же кто пожелает свести множественность к единому образу, то многое говорит за то, что Ангела-губителя Иеговы следует себе представлять в виде стройного юноши с кудрявою головой, крутым кадыком и решительно сдвинутыми бровями; это классический тип ангела-губителя, который во все времена испытывает радость, когда приходит конец бесполезным переговорам и можно от слов перейти к решительным действиям.

Оживленные приготовления к таковым не прекращались ни на миг во время затянувшихся переговоров Моисея с фараоном. Для самого Моисея они ограничились тем, что в ожидании тягостных событий он потихоньку отправил жену и сыновей назад в Мидеан, к своему шурину Иофору, чтобы в будущем его не обременяли заботы о близких. А Иошуа, который рядом с Моисеем, бесспорно, занимал то же место, что Ангел-губитель — рядом с Иеговой, думал о своем: он не располагал пока ни средствами, ни достаточным признанием для того, чтобы перевести на военное положение все три тысячи своих соплеменников, способных носить оружие, и принять над ними командование, а потому покуда наwerbвал всего один взвод, вооружив его и подчинив своей воле, — теперь у него по крайней мере было с чем начать.

Эти события окутаны мраком — мраком того вечера и ночи, которые в глазах сынов земли Египетской были кануном празднества для всего племени, что жило среди них в рабской неволе. Поначалу казалось, что эти евреи просто хотят вознаградить себя за отнятое у них празднество жертвоприношения в пустыне пиром в честь бога, с изобильными яствами и зажженными плошками, для чего они даже брали взаймы у своих египетских соседей золотые и серебряные сосуды. Но между тем (или, скорее, вместо того) явился Ангел-губитель, и умерли первенцы во всех жилищах, какие не были помечены пучком иссопа, омоченным в крови; эта кара имела следствием такое

замешательство, такой неожиданный переворот в правовых отношениях, что путь к исходу не только открылся перед людьми Моисея, но их на этот путь толкали с каждым часом все более настоятельно, и как они ни торопились, египтянам все было мало. И в самом деле, кажется, вторые сыновья не столько ревновали о мщении за смерть тех, чье место они заступили, сколько о том, чтобы виновники их возвышения поскорее убрались прочь. Предание гласит: эта десятая казнь сбила наконец спесь с фараона, и он освободил от рабства народ Моисея. Правда, очень скоро он послал в погоню за беглецами войсковой отряд, но свершилось чудо, и войско погибло.

Как бы там ни было, их исход ничем не отличался от изгнания, и поспешность, с какой он происходил, ясна уже по такой подробности: ни у кого не осталось времени, чтобы заквасить тесто и испечь в дорогу хлеб; люди успели запастись только пресными лепешками. Позднее, в память об этом, Моисей установил для крови отца своего праздничный обычай до скончания веков. В остальном же все, от мала до велика, были полностью готовы к выступлению. Когда Ангел-губитель обходил египетские дома, все уже сидели, препоясав чресла свои, на груженных телегах, обутые, с дорожными посохами в руках. Золотые и серебряные сосуды, взятые в долг у сынов этой земли, они прихватили с собой.

Друзья мои! Исход из Египта сопровождался и убийством и кражей. Но Моисей твердо решил: это будет в последний раз. Да и как может человек вырваться из нечистоты, без того чтобы не принести ей последнюю жертву, без того чтобы еще раз не окунуться в нее? Теперь то осязаемое, что любил Моисей страстной любовью ваятеля — бесформенная человеческая масса, кровь его отца, была на свободе, а свобода, он знал, это воздух, которым дышит освящение.

IX

Караван странников, куда менее внушительный, чем уверяют цифры предания, но все же достаточно многочисленный для того, чтобы с ним трудно было совладать, управлять им и снабдить всем необходимым, нелегкое бремя на плечах того, кто взял на себя ответственность за их судьбу, за их освобождение, — караван этот избрал путь, который напрашивается сам собою, если есть веские основания обойти египетские пограничные укрепления, начинающиеся севернее Горьких озер; этот путь вел через область Соленых озер в ту землю, которую омывает больший из двух, западный залив Чермного моря (между двумя этими заливами лежит Синайский полуостров). Моисей знал эту страну, потому что дважды пересек ее — когда бежал в Мидеан и когда возвращался назад. Лучше, нежели юному Иошуа, державшему в голове одни только схемы местности, ему были известны ее особенности, природа тех заросших тростником отмелей, которые связывают Горькие озера с морем, но по которым в иное время можно добраться до Сипая, даже не замочивши ног: если дует сильный восточный ветер, море отступает и открывается свободный проход, — и в таком состоянии беглецы, по милости Иеговы, застали Тростниковое море.

Весть о том, что Моисей, по внушению Бога, простер над водами свой жезл и тем понудил их отступить и дать дорогу народу, разнесли повсюду Иошуа и Халев. Вероятно, так он и сделал и, торжественно воздевая руки, именем Иеговы призвал на помощь восточный ветер. Во всяком случае, вера народа в своего вождя тем более нуждалась в подкреплении, что именно там впервые она подверглась тяжелому испытанию. Ибо как раз там войско фараоново, пехота и колесницы, знаменитые колесницы со смертоубийственными серпами, настигли путников и едва-едва не положили кровавый конец их пути к Богу.

Эта весть, принесенная замыкающим отрядом Иошуа, вызвала в народе беспредельный ужас и отчаяние. Тотчас ярким пламенем вспыхнуло сожаление («И зачем только мы пошли за этим человеком, Моисеем!»), и поднялся всеобщий ропот, который, к великому огорчению и скорби Моисея, повторялся затем при всяком столкновении с трудностями. Женщины неистово вопили, мужчины кляли все на свете и потрясали кулаками, точь-в-точь как Моисей, когда приходил в возбуждение. «Разве в Египте нет могил, — кричали они, — в которые мы могли бы мирно сойти, каждый в свой час, если бы остались дома?! — Египет вдруг сделался «домом», хотя прежде был чужбиною и землею рабства. — Лучше бы нам служить египтянам, чем погибнуть от меча в этой глухомани!» Тысячу раз слышал впоследствии Моисей эти слова, и они отравили ему даже радость избавления, великую, всеобъемлющую радость. Он был «Моисей, тот человек, который вывел нас из Египта», — и это звучало похвалой, покуда все шло хорошо. Но стоило делам пойти худо — и эти слова тут же изменяли свою окраску и превращались в ворчливый укор, от которого было совсем не так уж далеко до побиения камнями.

На этот раз дела шли невероятно, посрамляюще хорошо. Божие чудо возвеличило Моисея, он был «тем человеком, который вывел нас из Египта», — теперь эти слова снова зазвучали по-иному. Народ валит по высохшим отмелям, следом за ним — египетские колесницы. И тут спадает ветер, волны поворачивают вспять, и клокочущие воды поглощают и всадника и коня.

Торжество беспримерное. Мариам, пророчица, сестра Аарона, была в литавры, предводительствуя женщинами, которые шли в хороводе. Она пела:

— Пойте Господу — высоко превознесся он — коня и всадника ввергнул в море!

Мариам сама сочинила эту песнь. Представьте же себе, как она звучала, да еще под грохот литавр!

Народ был глубоко потрясен. Слова «сильный, святой, страшный, хвалимый, творец чудес» не сходили с уст, и было неясно, относятся они к божеству или к Моисею, божиему мужу, чей жезл (как полагали) потопил в волнах египтян. Представления здесь сместились, но это смещение напрашивалось само собой. И когда народ не роптал, Моисей тратил немало сил на то, чтобы не дать им обожествить себя, бывшего только провозвестником и посланцем Бога.

Говоря по правде, это было отнюдь не смешно: то, чего он стал требовать от убогих своих единоплеменников, выходило за пределы всех человеческих обычаев и просто не укладывалось в голове смертного. Как только Мариам кончила петь и хоровод остановился, он воспретил им всякое ликование по случаю гибели египтян. Он возвестил: вышнее воинство Иеговы само готово было подхватить эту победную песню, но Господь напустился на них: «Как?! Мои создания утонули в море, а вы вздумали петь?» Эту короткую, но поразительную историю Моисей поведал всем. И прибавил:

— Не радуйся падению твоего врага; и сердце твое пусть не веселится его несчастьем.

Впервые целая толпа, больше двенадцати тысяч человек, в том числе три тысячи способных носить оружие, услышала обращение «ты», которое охватывало всю их совокупность, но в то же время смотрело прямо в глаза каждому в отдельности — мужчине и женщине, старцу и дитяти — и, словно палец, упиралось каждому в грудь. «Падение врага твоего не встречай криком радости». Это было в высшей степени противоестественно! Но, видно, такая противоестественность как-то связана с незримостью Бога Моисеева, который пожелал быть нашим богом. Самым смышленным

среди темной толпы мало-помалу становилось понятно, что он имеет в виду и какое это зловещее время — поклясться в верности незримому богу,

Х

Теперь они были в Синайской земле, в пустыне Сур; это угрюмое место человек покидает лишь для того, чтобы оказаться в пустыне Фаран — не менее горькой и безрадостной. Почему эти две пустыни назывались по-разному — непонятно; они смыкались одна с другою и были одинаково каменистые, вспученные мертвыми буграми, безводные и бесплодные — проклятая равнина, тянувшаяся три дня, и четыре, и пять... Моисей поступил правильно, когда сразу же, не теряя времени, воспользовался своим авторитетом, который так возрос на берегу Тростникового моря, чтобы преподать тот нарушающий законы естества наказ: ибо он уже опять стал «Моисеем, этим человеком, который вывел нас из Египта», — что теперь означало: «принес нам несчастье», — и громкий ропот бил ему в уши. На четвертый день вода, которую они взяли с собой, подошла к концу. Тысячи людей изнывали от жажды, над головой их было неумолимое солнце, а под ногами — отчаяние, нагое отчаяние, была ли то еще пустыня Сур, или уже пустыня Фаран — все равно. «Пить! Что мы будем пить?!» Они кричали во все горло, не думая и не заботясь о своем вожде, который мучился оттого, что был за них в ответе. Он бы хотел один томиться от жажды, больше того — навсегда забыть вкус воды, лишь бы только напоить их, лишь бы только не слышать: «Зачем ты сманил нас из Египта?!» Самому страдать нетрудно, несравненно мучительнее сознавать свою ответственность за такую вот толпу, и заботы удручали Моисея, удручали во все дни жизни его — больше, нежели любого другого человека на свете.

Скоро и еда вся вышла — да и надолго ли, в самом деле, могло хватить взятых впопыхах лепешек? «Что мы будем есть?» — теперь звучал еще и этот крик, перемежавшийся плачем и бранью, и Моисей провел тягостные часы один на один с Богом, упрекая его и сетуя на то, как жестоко с его стороны возлагать бремя целого народа на плечи одного своего раба. «Разве я зачал и родил весь этот народ, — спрашивал он, — так чтобы ты мог сказать: «Неси его на руках своих»? Где мне взять пищу, чтобы накормить весь народ? Они плачут и говорят мне: «Дай нам мяса, чтобы мы наелись!» Я не могу один нести на руках весь народ — это слишком тяжело. А если ты решил поступить со мною так, лучше убей меня, чтобы не видеть мне моей и их беды».

И Иегова не оставил его. Что до питья, то на пятый день, когда они шли по какому-то плоскогорью, им попался источник, окруженный деревьями; впрочем, он значился и на той карте, которую носил в голове Иошуа, и назывался «Источник Мерра». Правда, из-за вредных примесей вода была отвратительна на вкус, и это вызвало горькое разочарование, и ропот широко прокатился по толпе путников.

Но Моисей — нужда сделала его изобретательным — поставил какое-то подобие фильтра, который задерживал дурные примеси — если не целиком, то, во всяком случае, значительную их часть; так он сотворил чудо при источнике, которое превратило вопли ярости в восторженные клики и сильно подкрепило его авторитет. Слова «который вывел нас из Египта» сразу же вновь приобрели розовый оттенок.

Что касается пищи, то и здесь тоже свершилось чудо, которое сначала встретили с изумлением и восторгом. Оказалось, что пустыня Фаран на большом протяжении покрыта съедобным лишайником — манной, сладковатыми на вкус маленькими катышками, с виду похожими на кориандровое семя или на бделий; он очень быстро портился и начинал гнить, если его не ели сразу же, как соберут, зато, истолченный,

растертый и выпеченный в золе наподобие хлеба, был, на худой конец, вполне сносной пищей и вкусом даже напоминал лепешку с медом, по мнению одних, а по мнению других — жмыхи.

Таково было первое, благоприятное впечатление, но оно удержалось ненадолго. Уже через несколько дней люди насытились манной и устали от нее: больше есть было нечего, и она очень скоро опротивела им и застревала у них в глотке, и они жаловались:

— В Египте мы даром ели рыбу, и дыни, и бобы, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А теперь наша душа изнывает, нет ничего, только манна в глазах наших.

С болью слышал Моисей эти речи и, конечно, все тот же вопрос: «Зачем ты сманил нас из Египта?!» И он вопрошал Бога: «Что мне делать с этим народом? Они больше не хотят манны. Смотри, еще немного — и они побьют меня камнями».

XI

Впрочем, от побиения камнями его надежно оберегал Иошуа и вооруженный отряд, который юноша набрал еще в Гошене; они обступили своего освободителя кольцом, едва лишь угрожающий ропот поднялся среди темного люда. Это был маленький отряд, состоявший пока только из юных воинов, с Халевом в качестве поручика во главе, но Иошуа ждал лишь удобного случая, чтобы, выказав достоинства полководца и передового бойца, принять под свою команду всех способных носить оружие — три тысячи мужчин, от первого до последнего. И он знал, что удобный случай не замедлит представиться.

Моисей многим был обязан юноше, которого нарек именем Божиим; не будь его, все бы уже не раз могло пойти прахом. Сам Моисей был человеком духа, и его мужественность, при всей своей силе и крепости, с широкими и толстыми, словно у каменотеса, запястьями, была духовной, обращенною внутрь, взнужданною Богом и им же неукротимо раздуваемою мужественностью, чуждой осязаемым вещам и пекущейся лишь о святом и богоугодном. С каким-то безрассудством, странно противоречившим той глубокой задумчивости, погружаясь в которую он прикрывал рукою рот и бороду, все его мысли и устремления сосредоточены были на том, чтобы остаться наедине с кровью своего отца и придать ей новую форму, чтобы никто и ничто не мешало ему изваять из не ведающей святости массы, которую он любил, святое подобие Бога. Опасности свободы, тяготы пустыни, вопрос, как провести через нее весь этот темный сброд целым и невредимым, больше того — куда именно он их ведет, заботили его мало или вовсе не заботили, к повседневному водителству он никак не был подготовлен. И он мог лишь радоваться, что рядом с ним был Иошуа, который, превыше всего чтя в Моисее эту духовную мужественность, предоставлял в полное его распоряжение свою мужественность — юношескую, прямолинейную, направленную вовне.

Лишь благодаря ему они не заблудились, не сгнули в этих диких местах, но передвигались целенаправленно и разумно. Он намечал по звездам направление, он определял дневные переходы с таким расчетом, чтобы всегда быть на недалеком, конечно, только сравнительно недалеком, расстоянии от воды. И что круглые лишайники съедобны, тоже открыл он. Одним словом, он неустанно заботился об авторитете вождя и о том, чтобы слова «который вывел нас из Египта», если вдруг они превращались в злобный ропот, снова звучали похвалой. В голове у него была ясно намеченная цель, и, в согласии с Моисеем, он вел к ней, по звездам, кратчайшим путем. Оба они сходились на том, что первой их целью должно быть хотя и временное, но надежное пристанище —

место, где можно жить, где они могли бы провести какой-то срок, мало того — длительный срок: с одной стороны, — по мысли Иошуа, — для того, чтобы народ умножился и дал возмужавшему своему полководцу больше способных носить оружие мужчин, с другой, — по мысли Моисея, — для того, чтобы он, Моисей, из подлого сброда создал Бога, высек из него нечто святое и благоприличное, посвященное Незримому, чистое творение, — по этой работе тосковали его душа и могучие руки.

Целью их был оазис Кадеш.[15 - Кадеш (буквально «святыня») — название многих сирийских городов; здесь — крепость и культурно-политический центр аморреев (амаликитян), расположенный в пустыне.] Подобно тому как пустыня Сур переходит в пустыню Фаран, так эта последняя переходит на юге в пустыню Син, но не на всем своем протяжении и не сразу. Ибо где-то между ними лежит оазис Кадеш — благодатная равнина, зеленая услада среди безводья — с тремя большими источниками и несколькими поменьше, длиною в день пути и шириною в полдня, с пашнями и сочными лугами, завидная местность, изобилующая зверем и плодами земными, достаточно обширная для того, чтобы приютить и прокормить столько людей, сколько насчитывали еврейские колена.

Иошуа знал, что этот лакомый кусок земли значитесь самым лучшим на карте, которую он держал в голове. Моисей тоже знал об этом, но двинуться туда, избрать своей целью Кадеш надумал Иошуа. Случай, которого он давно ждал, должен был представиться ему там. Такая жемчужина, как Кадеш, не была, разумеется, без хозяина. Она была в крепких руках, но все же — не слишком крепких, надеялся Иошуа. Желавший взять ее должен был сразиться с тем, кто взял ее раньше; и это был Амалик.[16 - Амалик — по библейскому преданию, внук Исава, родоначальник арабского племени амаликитян, кочевавшего в аравийской пустыне.]

Часть племени амаликитян владела Кадешом и не собиралась уступать его без боя. Иошуа объяснил Моисею, что должна быть война, должна быть битва между Иеговой и Амаликом, и вечная вражда возникнет между ними и пойдет из рода в род. Оазис нужно взять, и да станет он местом приумножения племени, а равно и освящения.

Моисей был не на шутку озадачен. Нельзя желать дома ближнего своего — таково было одно из тайно-сплетений незримости Бога, и он известил об этом юношу. Но тот ответил: Кадеш — не дом Амалика. Он, Иошуа, сведущ не только в местностях, но и в событиях прошлого, и он знает, что раньше, — правда, когда точно, он сказать не может, — в Кадеше жили евреи, близкие родичи, потомки их отцов, но амаликитяне изгнали их и рассеяли. Кадеш — это добыча, а добычу не возбраняется добывать силою.

Моисей не был в этом уверен, но у него были свои основания полагать, что Кадеш — в самом деле земля Иеговы и принадлежит тем, кто заключил с Иеговою завет. Не за одну лишь свою прелесть, не по причине изобилия природы звался он «Кадеш», что означает «Святылище», — он был святылищем мидеанитского Иеговы, в котором Моисей узнал Бога отцов своих. Неподалеку оттуда, к востоку, ближе к Эдому, лежала в цепи других гор гора Хорив, к которой Моисей приходил из Мидеана и где открылся ему Бог в пылающем кусте. Гора Хорив была престолом Иеговы, по крайней мере — одним из престолов. Моисей знал: его исконным престолом была гора Синай в глубине горных хребтов юга. Но между Синаем и Хоривом — местом, где Моисей получил свой наказ, — существовала тесная связь хотя бы в том, что Иегова восседал на обеих вершинах; их можно было приравнять одну к другой, с известной натяжкой можно было и Хорив называть Синаем, а стало быть, Кадеш был наречен так, как его нарекли, потому, что лежал у подножья Святой горы.

И Моисей согласился с планом Иошуа и разрешил ему готовить поход Иеговы на

Амалика.

XII

Битва состоялась, это исторический факт. Очень тяжелая битва, она шла с переменным успехом, но в конце концов победителем остался Израиль. Имя «Израиль», которое означает «Бог воительствует», Моисей дал своему народу перед битвой, дабы укрепить его мужество, объяснив, что это старинное, но забытое имя: его заслужил еще Иаков, их праотец, и нарек им весь свой род. Для выходцев из Египта оно оказалось настоящим благословением: разрозненные колена объединились, все они звались теперь Израиль и сражались под этим грозным именем в одних рядах, а в битву их вел юный полководец Иошуа со своим поручиком Халевом.

Амаликитяне не сомневались в том, что означает нашествие кочевников: такие нашествия всегда означают только одно. Не ожидая нападения па оазис, они густыми толпами повалили в пустыню, более многочисленные, чем Израиль, и лучше вооруженные, и, высоко вздымая облако пыли, с воодушевлением и воинственными кликами ринулись в бой; силы были неравны еще и потому, что люди Иошуа страдали от жажды и уже много дней не ели ничего, кроме манны. Но зато у них был Иошуа — юноша, который зорко смотрел вперед и направлял каждое их движение, и у них был Моисей — муж божий.

В самом начале свалки Моисей со своим названным братом Аароном и Мариам, пророчицей, взошел на холм, с которого видно было поле сражения. Его мужественность не годилась для войны, и все без колебания согласились с ним, что его дело — дело священника, и никаких иных обязанностей он не может и не должен нести; и вот, воздевши руки, он взывал к Богу в пламенных речах: «Восстань, Иегова, бог мириад и тысяч израилевых, — и рассеются враги твои, и побегут ненавидящие тебя пред лицом твоим!»

Они не побежали, и они не рассеялись, вернее — и рассеивались и бежали, но лишь на отдельных участках и на самое короткое время; ибо, хотя жажда и отвращение к манне довели Израиль до неистовства, мириад Амалика было больше, и после короткого замешательства они снова оттесняли противника назад, оказываясь иной раз в угрожающей близости к наблюдательному холму. И тут обнаружился один неоспоримый факт: пока Моисей, в молитве, воздевал к небу руки, одолевал Израиль, когда же он опускал руки, одолевал Амалик. Но так как руки его отяжелели и он не мог сам все время держать их поднятыми, Аарон и Мариам встали один справа, а другая слева и поддерживали его руки. А чего это стоило Моисею, следует судить по тому, что битва длилась с утра до вечера, и все это время ему нельзя было опускать рук. Легко себе представить, как трудно приходилось этой духовной мужественности на вершине холма, — вероятно, еще труднее, нежели тем, кто рубился у подножья.

Но обойтись вовсе без перерывов в течение целого дня не удалось: помощники изредка на какое-то мгновение отпускали руки учителя, и всякий раз это стоило бойцам Иеговы немалой крови и немалых стеснений. Тут Аарон и Мариам снова подхватывали его руки, и, видя это, новое мужество обретал Израиль. С другой стороны, и полководческое дарование Иошуа привело битву к счастливому исходу. Юный воитель был прозорлив и хитроумен, он придумал совершенно необычайный маневр, о котором до тех пор никто не слышал, по крайней мере в пустыне; к тому же это был полководец с крепкими нервами, умевший смотреть спокойно на временную потерю позиций. Сосредоточив своих лучших, отборных бойцов, ангелов-губителей, на левом фланге, он нанес сокрушительный удар и

погнал врага, одержав победу на этом участке, меж тем как главные силы Амалика, имея значительное преимущество над рядами Израиля, в стремительной атаке отбросили их далеко назад. Однако благодаря фланговому прорыву Иошуа зашел Амалику в тыл, и тот принужден был обратиться против него, не прекращая борьбы с главными силами Израиля, уже почти разбитыми, но теперь приободрившимися и вновь перешедшими в наступление. Верх взяло безрассудство; потеряв всякую надежду, амаликитяне кричали:

— Измена! Все пропало! Какая тут может быть победа! Ведь на нас пошел Иегова, бог величайшего коварства!

И с этим возгласом отчаяния Амалик выпустил из руки меч и был низложен.

Лишь немногим удалось бежать на север и соединиться с главной ветвью своего племени. А Израиль занял оазис Кадеш, и оказалось, что его пересекает широкий, говорливый ручей, что весь он зарос плодовыми деревьями и ягодными кустами, изобилует пчелами, певчими птицами, перепелами и зайцами. Дети Амалика, оставшиеся в шатрах, умножили молодое поколение Израиля. Жены Амалика стали женами и девами Израиля.

XIII

Моисей был счастлив, хотя руки у него еще долго болели. Правда, заботы и впредь будут удручать его больше, чем любого другого человека на свете, — мы в этом убедимся. Но пока он был счастлив, видя, как удачно все складывается. Исход свершился. Карательные силы фараона нашли гибель в Тростниковом море, путешествие по пустыне благополучно закончено, битва при Кадеше выиграна с помощью Иеговы. Во всем своем величии стоял он теперь перед племенем своего отца, «Моисей, этот человек, который вывел нас из Египта», и это было то, в чем он нуждался, дабы приступить к делу — к очищению и созданию образа в духе Незримого, к сверлению, к оббивке и исканию формы во плоти и крови, — к делу, по которому он томился. Он был счастлив, что остался наконец один на один с этой плотью в оазисе, именовавшемся «Святилище». Кадеш стал его мастерской.

Он показал народу гору, видневшуюся среди других гор к востоку от Кадеша, за песками пустыни, — Хорив, который можно было называть еще и Синай, заросший на две трети кустарником, а выше нагой — престол Иеговы. Что это так, казалось вполне правдоподобным, ибо то была особенная гора, отличавшаяся от всех своих соседей неким облаком, всегда неподвижно лежавшим на ее вершине, словно крыша; днем оно было серое, а ночью будто светилось. Там, как слышали люди, на косматом склоне горы, у скалистой вершины, Иегова воззвал к Моисею из пылающего тернового куста и наказывал ему вывести их из Египта. Они слушали со страхом и дрожью, которые еще не сменились у них благоговейным трепетом. В самом деле, у всех до одного, не исключая и бородатых мужей, всякий раз подкашивались колени, когда Моисей показывал им на гору с облаком и объяснял, что там сидит Бог, который их возлюбил и пожелал быть их единственным богом; и Моисей, потрясая кулаками, бранил их за эту робость и, стараясь, чтобы они держали себя с Иеговой смелее и проще, устроил ему жилище среди их жилищ, прямо тут же в Кадеше.

Ибо Иегове свойственна была подвижная множественность присутствия — это было одним из следствий его незримости. Он сидел на Синае, он сидел на Хориве, а теперь, едва только они расположились в Кадеше, в станах амаликитян, как Моисей и здесь воздвиг ему дом — шатер поблизости от своего шатра, и назвал его шатром собрания или

скинией завета, и расставил в нем священные предметы, служившие для почитания Безобразного. В основном это были вещи, которые Моисей, по памяти, заимствовал из культа мидеанитского Иеговы: во-первых, своего рода ларь с шестью для переноски, на котором, по свидетельству Моисея (а кому как не ему было это знать?), незримо восседало божество и который нужно было брать с собою в ратное поле и нести впереди воинских рядов, если, к примеру, приблизится Амалик и будет пытаться отомстить Израилю за свое поражение. Рядом с ларем лежал медный жезл со змеиной головой (его называли «Медный змий») — память о безобидном фокусе Аарона; одновременно он должен был изображать тот жезл, который Моисей простер над Тростниковым морем, дабы оно расступилось. Но особенно бережно хранился в шатре Иеговы так называемый ефод — сума, из которой появлялся на свет священный жребий «урим и туммим», означавший «да» или «нет», «справедливость» или «несправедливость», «добро» или «зло», когда, в случае особенно трудной тяжбы, неразрешимой человеческим умом, необходимо было обратиться прямо к суду Иеговы.

Впрочем, по большей части всевозможные тяжбы и споры судил вместо Иеговы сам Моисей. Больше того — первым делом он устроил в Кадеше место судилища, где по определенным дням разбирали тяжбы и вершил правосудие; там, где бил самый большой источник, который уже нарекли «Ме-Мерива», что означает «Вода иска», — вершил Моисей правосудие, и свято струилось оно, как бьющая из земли вода. Но если вспомнить, что в оазисе было двенадцать с половиной тысяч душ, которые подчинялись своим собственным представлениям о праве, можно понять, сколько тревог и забот выпадало на долю этого человека. И тем больше ищущих своего права устремлялось постоянно к судилищу при источнике, что для заброшенного и потерянного племени право было чем-то совсем новым, до сих пор они и не подозревали, что оно вообще существует; лишь здесь они узнали, что, во-первых, право неразрывно связано с незримостью Бога и его святостью и стоит на страже таковых, а во-вторых, что оно обнимает собою и неправоту, чего темный люд долгое время не мог постигнуть. Им казалось: где струится правосудие, там каждый должен быть правым, и сначала они не хотели верить, будто в иных случаях правосудие состоит в том, что человека, который ищет своего права, признают неправым и он должен уйти ни с чем. Такой человек начинал раскаиваться, что не решил дела со своим супостатом по старинке, зажавши в кулаке камень, — тогда, может быть, оно приняло бы другой оборот, — и лишь с большим трудом усваивал он слова Моисея, что это было бы противно незримости Бога и что не с пустыми руками уходит тот, кого признают неправым правосудия ради: ибо право и справедливость неизменно прекрасны и полны достоинства в святой своей незримости, независимо от того, был ли ты признан правым или неправым.

Итак, Моисей должен был не только вершить правосудие, но и учить справедливости, и был обременен заботами. Сам он когда-то, в фиванском закрытом учебном заведении, изучал право — египетские свитки законов и кодекс Хаммурапи, [17 - Кодекс Хаммурапи — древнейший юридический памятник Древнего Востока, высеченный на большом каменном столбе клинописными знаками; составлен по указу вавилонского царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.), законодателя и завоевателя, завершившего политическую и территориальную централизацию Вавилонского государства.] царившего на Евфрате. Это помогало ему выносить решение во многих случаях, например: если вол до смерти забодает мужчину или женщину, то вола побить камнями и мяса его не есть, а хозяин вола не виноват, но если вол бодлив был и прежде, а хозяин, зная об этом, плохо его стерег, пусть поплатится собственной жизнью — разве что сможет дать выкуп за нее, тридцать сиклей серебра. Или: если кто раскроет яму и не покроет ее как следует, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен возместить ущерб деньгами, а труп остается ему. И что бы еще ни случилось — будь то телесное повреждение, или жестокое обращение с рабом, или воровство, или взлом, или потрава, или поджог, или злоупотребление доверием, — во всех этих случаях и в сотнях других Моисей произносил

решение, следуя законам Хаммурапи, осуждал и оправдывал. Но для одного судьи дел было слишком много, судилище у источника было всегда переполнено, и если Моисей расследовал каждый случай мало-мальски добросовестно, он не справлялся, многое приходилось откладывать. Меж тем новые дела все прибывали, и не было на свете человека, которого заботы обременяли бы сильнее.

XIV

Вот почему для него было большим счастьем, что прибыл в Кадеш из Мидеана его шурин Иофор, подавший ему добрую мысль, до которой он сам, при своем добросовестном самовластии, никогда бы не додумался. Сразу же после захвата оазиса Моисей послал весть шурина в Мидеан и просил отпустить с миром его жену Сепфору и обоих сыновей, которых он поселил у него в шатре во время египетских притеснений. Но Иофор любезно явился сам, чтобы лично передать Моисею из рук в руки жену и сыновей, обнять его, осмотреться и услышать из собственных уст зятя, как все произошло.

Это был грузный шейх с ясными глазами и плавными, ловкими движениями, человек светский, властитель цивилизованного, просвещенного народа. Торжественно встреченный, он остановился у Моисея, в его жилище, и тут не без удивления узнал, что один из их богов, и к тому же — безобразный, оказал такие невиданные милости Моисею и его людям и спас их от рук египтян.

— Кто бы мог подумать! — воскликнул он. — По-видимому, он сильнее, чем мы полагали, и я начинаю опасаться, что до сих пор мы обращались с ним чересчур небрежно. Я позабочусь о том, чтобы и у нас он был в большей чести.

На следующий день были назначены торжественные всеожжения Господу. Моисей устраивал их редко; он не придавал слишком большого значения жертвам: они-де мало что значат для Незримого, ибо жертвы приносят все народы и языки. Иегова же говорит: «Прежде всего слушайте голоса моего, то есть — голоса раба моего Моисея, и тогда я буду вашим богом, а вы — моим народом». Но на этот раз он заклал мирные жертвы и принес всеожжения — во славу и для услады ноздрей Иеговы, но также и для того, чтобы отпраздновать прибытие Иофора. А еще через день, рано поутру, Моисей взял своего шурина к «Воде иска», чтобы тот побывал в судилище и увидел, как он судит народ. Народ стоял вокруг него с утра до вечера, но конца делам не было видно.

— Ну, а теперь, дорогой зять, — спросил гость, когда вдвоем они возвращались назад, — объясни мне, пожалуйста, что это за казнь ты для себя придумал? Ты один сидишь, — а весь народ стоит вокруг тебя с утра до вечера! Для чего ты это делаешь?

— Это мой долг, — отвечал Моисей. — Народ приходит ко мне, чтобы я рассудил человека с его ближним и научил их справедливости и законам господним.

— Но, милый мой, можно ли быть таким неловким! — возразил Иофор. — Разве так управляют и разве должен государь так себя изнурять, все делая единолично?! Ты до того устаешь, что смотреть жалко: сам на себя непохож становишься, и голос у тебя пропадает от бесконечных приговоров. К тому же и народ устает не меньше. Так ничего не выйдет, долго ты не сможешь судить все дела один. Да это и ни к чему! Доверься моему слову: будь для народа посредником перед Богом и представляй ему на рассмотрение важные вопросы, которые касаются всех, — этого вполне достаточно. Пригляди, — продолжал он с ленивым движением, — пригляди людей честных и мало-мальски уважаемых и поставь их над народом — над тысячами, сотнями, полусотнями и

десятками поставь их, чтобы они судили народ по праву и по законам, которые ты ему дашь. О всяком важном деле пусть доносят тебе, а с делами поменьше пусть сами справляются — тебе вовсе незачем о них знать. У меня бы не было такого брюшка и я не сумел бы выбрать время и приехать к тебе, если бы считал, что должен знать обо всем, и обременял бы себя так, как это делаешь ты.

— Но судьи станут принимать дары, — мрачно отвечал Моисей, — и грешники окажутся оправданными. Ибо дары ослепляют зрячих и извращают дела правых.

— Я и сам это знаю, — заметил Иофор. — Знаю очень хорошо. Но приходится кое-чем поступаться, если в целом правосудие отправляется как должно и поддерживаются устав и закон; а что дары в какой-то мере его нарушают и осложняют — не так уж существенно. Вдумайся: дары принимают обыкновенные, заурядные люди, но ведь народ тоже состоит из обыкновенных, заурядных людей и потому питает пристрастие к заурядному, а стало быть, заурядное придется ему, в общем, по сердцу. К тому же, если дело какого-нибудь одного человека извратит принявший дар от грешника судья над десятком, пусть человек этот действует установленным образом и поднимается по ступеням правосудия: пусть призовет судью над полусотней, над сотней, а затем и судью над тысячей, который получает дары чаще и больше всех и потому смотрит на вещи шире и свободней, — у этого судьи он найдет наконец правосудие, если к тому времени ему еще не надоест его искать.

Так говорил Иофор, сопровождая речь свою плавными жестами, которые для всех вокруг делали жизнь проще и легче и ясно свидетельствовали о том, что шурина Моисея — жрец и царь развитого народа пустыни. Мрачно слушал его Моисей и кивал головой. У него была податливая натура одинокого мыслителя, который задумчиво поддакивает житейской мудрости, сознавая ее относительную правоту. Он и в самом деле последовал совету находчивого шурина — это было совершенно необходимо. Он назначил судей, непричастных жречеству, и правосудие заструилось подле большого источника и подле малых; следуя его наставлениям, они разбирали несложные, повседневные дела (например, об осле, упавшем в яму), и только особо важные дела поступали к нему, слугителю Бога, а самые важные из них решались священным жребием.

Теперь он больше не был занят сверх меры, и у него освободились руки для дальнейшей работы, каковую он задумал сотворить, трудясь над бесформенным телом народа, и для коей Иошуа, юноша-полководец, добыл ему мастерскую — оазис Кадеш. Несомненно, правосудие было важным примером тайносплетений незримости, но всего лишь одним примером, и надобен был еще огромный, длительный, в гневе и терпении вершимый труд, чтобы из непокорного сброда сотворить народ — и не просто такой, как все другие, которым по сердцу заурядное, но необычный в своей незаурядности и чистоте образ, воздвигнутый для Незримого и ему посвященный.

XV

Племя скоро почувствовало, что значит попасть в руки такого гневно-терпеливого мастера, как Моисей, несущего ответственность перед Господом, и сообразило, что противоестественное Моисеево наставление — ни единым криком радости не радоваться гибели врага в пучине моря — было лишь началом, но началом многообещающим, заходящим далеко в глубь области чистоты и святости, началом, уже несущим в себе множество предварительных условий, которые должны были исполниться для того, чтобы человек не воспринимал более подобное требование как нечто совершенно противоестественное. Как это все происходило в гуще темной толпы, и

сколь грубым была она сырьем — сырьем из плоти и крови, не ведающим простейших понятий чистоты и святости, — и как Моисей с самого начала втолковывал ей основы основ, явствует из скупых предписаний, с которыми он приступил к делу, обламывая и долбя свой материал — отнюдь не к удовольствию последнего: неотесанный чурбан не бывает на стороне мастера, он всегда против него, и как раз основы основ, придающие первую, самую приблизительную форму, кажутся ему особенно противоестественными.

Моисей был всегда среди них — то там, то здесь, то в одном, то в другом стане — со своими колючими глазами и проломленным носом, он потрясал кулаками на широких запястьях и порицал, критиковал, переворачивал и устраивал заново их бытие, поносил, исправлял и очищал, причем пробным камнем у него всегда была незримость Бога, Иеговы, который вывел их из Египта, дабы сделать своим народом, и хотел, чтобы они были святы, как свят он, Незримый. Но пока они были всего лишь подлым сбродом, не более, о чем свидетельствовало хотя бы то, что они опорожняли желудок прямо в стане, где случится. Это был срам, и это была зараза. Пусть будет у тебя особое место за станом; туда и выходи за нуждой, ты понял меня? И пусть будет у тебя лопатка, ею ты выроешь ямку, прежде чем сесть; а когда поднимешься — засыпь эту ямку, ибо Господь, Бог твой, ходит по твоему стану, и потому да будет он святым станом, а это значит — опрятным, чтобы Бог не зажимал носа и не отворачивался от тебя. Ибо святость начинается с опрятности, и эта чистота, грубо говоря, есть грубая основа всяческой чистоты. Ты постиг это, Ахиман, и ты, женщина Ноэми? В следующий раз я хочу видеть у каждого лопатку, а если не увижу — да придет на вас Ангел-губитель!

Будь опрятен и часто омывайся проточной водой здоровья ради; ибо без здоровья нет чистоты и святости; болезнь нечиста. А если ты полагаешь, что подлость здоровее, нежели опрятный обычай, то ты — слабоумный, и тебя поразят желтуха, волчье мясо и шишки египетские! Если ты не приучишь себя к опрятности, то появится черная злая оспа, и зародыши мора станут переходить от одного к другому. Учись различать меж чистотой и нечистотой, иначе не оправдаешься пред Незримым, подлым сбродом ты будешь в глазах его. А потому, если у мужчины или женщины откроется едкая проказа и дурное истечение из тела, парша или чесотка, пусть объявят их нечистыми и вышлют за стан, обособив в нечистоте, подобно тому как Господь обособил вас, чтобы вы были чисты. И все, к чему такой человек прикасался и на чем он лежал, и седло, на котором сидел он, сожгите на огне. Если же вне стана, в особом месте, сделается он чист, пусть отсчитает семь дней, дабы проверить, действительно ли он чист, и омоется с ног до головы водою, после чего может возвратиться.

Различай, говорю тебе, и будешь свят перед Богом, иначе ты не достигнешь святости, которую я хочу в тебе видеть. Ты ешь все подряд, без разбора и освящения, а это мерзость в глазах моих. Впредь одно ешь, другого не ешь, тем гордись, а того отвращайся. Ты можешь есть всякий скот, у которого раздвоены копыта и который жует жвачку, а те, что жуют жвачку, копыта же их не раздвоены, как, например, верблюд, нечисты они для вас, их не ешьте. Заметь себе: хороший верблюд, как живая тварь божия, чист, но в пищу он не годится, точь-в-точь как свинья; ее тоже не ешьте, ибо хотя копыта у нее и раздвоены, но жвачку она не жует. Итак — различайте! Всех, у кого есть плавники и чешуя в водах, ешьте, но тех, что кишат в водах без плавников и чешуи, саламандру с породюю ее, — хоть и они от Бога, — бойтесь употреблять в пищу. А из птиц гнушайтесь орла, грифа, морского орла, коршуна и подобных им. И еще: всякого ворона, страуса, совы, кукушки, филина, лебедя, сыча, нетопыря, выпи, аиста, цапли и сойки, а также ласточки. Я забыл удода — от него тоже держитесь подальше. Кто станет есть ласку, мышь, жабу или ежа? Кто настолько подл, чтобы пожирать ящерицу, крота и медянку или еще кого из тех, что пресмыкаются по земле и ползают на чреве своем? Если я еще раз увижу, как ты ешь медянку, я расправлюсь с тобой так, что уже никогда больше этого не сделаешь. Правда, от медянки не умирают и для здоровья она не опасна, но это

гнусность, а для вас — гнусность стократ! И падаль не ешь — это и гнусно и вредно.

Так он давал им предписания касательно еды и устанавливал ограничения в пище, но не только в пище. В похоти и любви он тоже их ограничил, ибо и здесь все у них шло как попало, на самый что ни есть подлый лад. Не прелюбодействуй, говорил он им, потому что брак — святой устав. А ты понимаешь, что это такое — «не прелюбодействуй»? Поелику свят Бог, сие означает сотни стеснений, и не только то, что не должно тебе возжелать жены ближнего своего, — это из них наименьшее. Ибо хоть ты и живешь плотью, но принес клятву Незримому, а брак есть самая суть плотской чистоты пред лицом Бога. Потому, например, не бери себе жены вместе с матерью ее — это не годится. И никогда, ни в коем случае не ложись с сестрою, дабы не видеть тебе ее срама, а ей — твоего: кровосмешение это. Не ложись с теткой твоей, это не достойно ни ее, ни тебя, страшись этого. Если женщина больна, остерегайся ее, не приближайся к ней в истечение крови ее. А если с мужчиною случится во сне нечто постыдное, нечист он будет до вечера и должен старательно омыться водою.

Я слышал, ты склоняешь свою дочь к разврату и берешь у нее деньги, что она получает за разврат? Больше этого не делай, а если будешь упорствовать, я велю побить тебя камнями. Как посмел ты возлечь с мальчиком, словно с женщиною? Пустое это, мерзость языков земли, и оба должны быть преданы смерти. И если кто смесится со скотиною, будь то мужчина или женщина, тех должно истребить совершенно — их должно удавить вместе со скотиной.

Легко себе представить, в какое замешательство привели их все эти стеснения! В конце концов им начало казаться, что, если каждому из них следовать неукоснительно, от самой жизни почти ничего не останется! С резцом ваятеля приступил он к ним, да так, что обломки полетели, и это следует понимать буквально, ибо кары, что он возлагал за самые злые нарушения своих уставов, были отнюдь не шуткой: позади его запретов стоял Иошуа со своими ангелами-губителями.

— Я Господь, Бог ваш, — говорил он, рискуя тем, что они и в самом деле станут считать его богом, — который вывел вас из Египта и отличил вас меж всеми народами. Посему и вы отличайте чистоту от нечистоты и не ходите блудно в след языков земли, но будьте святы предо мною. Ибо свят я, Господь, и отличил вас, чтобы вы были моими. Нет нечистоты хуже, как служить какому-нибудь богу, кроме меня, ибо я зовусь Ревнитель. Нет нечистоты хуже, как делать себе кумиры и изображения, — будь то изображение мужчины, или женщины, или вола, или ястреба, или рыбы, или червя, — ибо тем самым ты отпадаешь от меня, хотя бы меня самого представлял кумир твой; это все равно что спать с сестрою или смеситься со скотиной — то и другое лежит совсем рядом. Остерегайся! Я среди вас и вижу все. Кто станет блудно ходить в след богов Египта — богов-зверей[18 - ...богов Египта — богов-зверей — в древнем Египте существовал культ священных животных (кошка, корова, ибис, ястреб и др.), вследствие чего многие божества, как Озирис, Изида, Гор, Гатор, изображались с головой животного на человеческом туловище.] или богов преисподней, — тому я воздам: прогоню его в пустыню и извергну как отбросы. Точно так же поступлю я с тем, кто принесет жертву Молоху[19 - Молох — финикийское божество солнца и огня, которому приносились во всесожжение человеческие жертвы.] (вы еще не забыли его, я знаю): если кто истребит силу свою в честь Молоха, — зло среди вас тот человек, и зло расправлюсь я с ним. А потому не сжигай в огне сына твоего или дочь по бессмысленному обычаю языков земли, не следи за полетом и криком птиц,[20 - ...не следи за полетом и криком птиц... — имеются в виду гадания жрецов-прорицателей по поведению священных животных и птиц.] не шепчись с волшебниками, гадалками и ворожеями, не вопрошай мертвых[21 - ...не вопрошай мертвых... — некромантия — вызывание теней усопших с целью узнать будущее, — практиковавшаяся жрецами и магами, была широко распространена в

древнем мире.] и не колдуй, призывая имя мое. Если какой-нибудь негодяй, свидетельствуя, клянется моим именем, посрамляет он имя Бога своего, истреблю того человека. А еще колдовство и мерзость языков земли — накалывать на себе письма, сбривать брови и делать на лице надрезы в знак печали об умершем. Не потерплю и этого.

Как же велико было их замешательство! Им запрещалось даже делать траурные надрезы, им запрещалось делать татуировки. Теперь они поняли, что такое незримость Бога! Да, великим стеснением оказался завет с Иеговой. Но так как позади запретов Моисея стоял Ангель-губитель, а им не хотелось, чтобы их изгнали в пустыню, вскоре то, что он запрещал, стало представляться им ужасным; вначале — лишь из страха перед карой, но кара не замедлила отметить печатью мерзости само деяние, и мерзко становилось на душе у того, кто его совершил, хотя бы мысль о каре больше его и не тревожила.

Держи сердце свое в узде, говорил он им, и не обращай взоров на чужое достояние, ибо они легко приведут тебя к тому, что ты его захватишь — либо похитишь тайно (а это трусость), либо убьешь владельца (а это дикость). Но мы — Иегова и я, — мы не хотим видеть вас ни трусливыми, ни дикими, будьте посредине меж тем и другим, я хочу сказать — будьте праведны. Понятно вам это? Кража — беда, подбирающаяся втихомолку, но убийство, будь то из ярости или из алчности, или из алчной ярости, или из яростной алчности, — неслыханное, вопиющее злодеяние, и кто его совершит, против того обращу я лик свой, и не найдет он места, где ему укрыться. Ибо он пролил кровь, а кровь есть святыня и тайна великая, приношение на мой алтарь, жертва очистительная. Крови не ешьте, и мяса с кровью не ешьте — ибо это мое. И если кто запятнан человеческой кровью, пусть сердце его оледенеет от ужаса, и буду гнать его дотолы, пока не побежит от самого себя, и так — до скончания времен. Отвечайте — аминь!

И они ответили: «Аминь!» — еще в надежде на то, что убийство означает лишь насильственное умерщвление, которое желанно немногим и случается нечасто. Но оказалось, что Бог придает этому слову такой же широкий смысл, как прелюбодеянию, и понимает под ним все, что угодно; выяснилось, что убийство начинается чрезвычайно рано: если ты нанес ущерб человеку обманом и надувательством (а они желанны были каждому!), ты уже пролил его кровь. Им запрещалось обманывать друг друга, лжесвидетельствовать против кого бы то ни было, пользоваться неверной мерой, неверным локтем, неверным фунтом. Это было до крайности противоестественно, и если что придавало завету и запрету хотя бы видимость естественности, то это был поначалу лишь естественный страх перед карой.

Что человек должен чтить отца или мать, как того требовал Моисей, тоже имело более широкий смысл, чем можно было предположить с первого взгляда. Кто поднял на родителя руку или проклял его, с тем я расправлюсь без пощады. Но почтение должно распространяться и на тех, кто лишь могли бы быть твоими родителями. Пред лицом седого встань, сложи руки и склони свою глупую голову, ты меня понял? Таков порядок, установленный Богом. Единственным утешением было то, что, коль скоро ближнему запрещено убивать ближнего, появлялась надежда в свою очередь дожить до старости и седин, и тогда уже другие будут вставать перед тобою.

Но в конце концов обнаружилось, что старость есть подобие старины в целом, всего, что идет не от нынешнего и не от вчерашнего дня, но издавна, напоминание об обычае предков, благочестиво передающемся из рода в род. Ему оказывай почтение и страх божий. Итак, наблюдай праздники мои, день, в который я вывел тебя из Египта, день неквашеного хлеба и непреложно — день, в который я почил от трудов творения. Субботу, день господень, рабочим потом не оскверняй; я запрещаю тебе это! Ибо дланью крепкою

и рукою простертою я вывел тебя из Египта, из дома рабства, где ты был невольником, рабочим скотом, и пусть мой день будет днем твоей свободы, — ее празднуй. Шесть дней будь хлебопашцем, плугарем, гончаром, медником, столяром, но в мой день облачись в одежды свои и будь только человеком, и взор свой устреми к Незримому.

Ты был жалким рабом в земле Египетской — помни об этом и не угнетай чужестранцев, например, сыновей Амалика, которых Господь предал в твои руки. Гляди на них так же, как на самого себя, и предоставь им те же права, а иначе вмешаюсь я, ибо они под защитою Иеговы. И вообще не делай дерзкого различия между собой и другим: не думай, будто лишь ты один воистину существуешь, а все кругом зависит от тебя, и другой — только видимость. Жизнь — ваше общее достояние, и это всего лишь случайность, что ты — не он. А потому люби не одного себя, люби и его, и поступай с ним так, как ты бы хотел, чтобы поступал с тобой он, если бы он был тобою. Будьте ласковы друг с другом, и целуйте кончики пальцев при встрече, и учтиво кланяйтесь, и приветствуйте друг друга: «Будь здоров и невредим!» Ибо не менее важно, чтобы другой был здоров, нежели чтобы здоров был ты. И хотя это только внешняя учтивость, когда вы так говорите и целуете кончики пальцев, но жест этот вкладывает вам в душу толику того, что должно в ней быть по отношению к ближним.

Отвечайте же — аминь!

И они ответили: «Аминь!»

XVI

Но это «аминь» мало что значило; они сказали «аминь» лишь потому, что Моисей был человеком, который благополучно вывел их из Египта, утопил фараоновы колесницы и выиграл битву при Кадеше; медленно, очень медленно (или так только казалось?) внедрялось им в плоть и кровь то, чему он их учил и что возлагал на них — уставы, заветы и запреты, и громаден был труд, взятый им на себя, — из темной толпы воздвигнуть Господу святой народ, чистый образ, что не рухнет пред очами Незримого. В поте лица своего работал он в Кадеше, своей мастерской, и его широко расставленные глаза попевали повсюду; он рубил, высекал, искал форму и выглаживал, трудясь над недовольным всем этим чурбаном с неуклонным терпением и удвоенной снисходительностью, с пламенным гневом и карающей неумолимостью, и не раз он готов был пасть духом, видя, какой строптивой, какой забывчиво-косной оказывала себя эта плоть, из коей он творил подобие божие, как люди не брали с собою лопатку, ели медянок, спали со своими сестрами или блудили со скотиной, накалывали письма, сидели на земле рядом с гадателями, крали потихоньку и убивали друг друга. «О подлый сброд! — говорил он им тогда. — Вот увидите, Господь придет на вас и вас истребит!» А самому Господу он говорил: «Что мне делать с этой плотью и за что ты лишил меня своей милости, за что взвалил мне на плечи бремя, какое не в силах я нести? Лучше бы мне чистить хлев, семь лет не видевший воды и заступа, и голыми руками обращать чащобу в плодородную ниву, нежели здесь создавать для тебя чистый образ. Ну гожусь ли я для того, чтобы нести этот народ на руках своих, словно я произвел его на свет! Я сродни ему лишь наполовину, с отцовской стороны, и потому, прошу тебя, дай мне порадоваться жизни, разреши меня от твоего наказания, а если не разрешишь, так лучше убей!»

Но Бог отвечал ему из его собственной груди, и голос Бога звучал так громко и отчетливо, что пал Моисей на лицо свое:

— Как раз потому, что ты сродни им лишь наполовину, со стороны того, зарытого в землю,

ты, а не кто иной, образует и воздвигнешь для меня святой народ. Ибо стоишь ты в самой гуще и будь ты доподлинно один из них, ты бы не видел их и не мог бы наложить на них свою руку. Вдобавок твои сетования и просьбы отставить тебя от дела — одно лишь жеманство. Ведь ты отлично знаешь, что твои труды уже пошли им впрок, ты успел уже разбудить в них совесть, так что мерзко становится на душе у того, кто делает мерзость. А потому не прикидывайся и не старайся скрыть от меня великой любви, которую ты питаешь к муке своей и к заботе! Это моя любовь, любовь Бога, и без нее жизнь через каких-нибудь несколько дней стала бы тебе поперек горла, словно манна народу. И только если бы я убил тебя, только тогда она была бы тебе уже не нужна.

Он сознавал это, мученик, и, лежа на лице своем, соглашался с речами Иеговы, и снова поднялся навстречу муке своей и заботе. Но заботы удручали его не только как ваятеля народа — забота и печаль завладели и семейной его жизнью: в ней возобладали злоба, зависть и ссоры, и не было мира в его доме — по его вине, ибо причиной неурядиц были его чувства, возбужденные работой и обратившиеся на негритянку, на пресловутую негритянку.

Известно, что, кроме жены Сепфоры, матери его сыновей, он жил в то время с одной негритянкой, женщиной из земли Куш; [22 - Куш — древнеегипетское название Эфиопии.] она попала в Египет еще ребенком, [23 - ...он жил в то время с одной негритянкой... она попала в Египет еще ребенком... — по преданию, пленная эфиопская царевна Фарбис.] жила среди рабов в Гошене и последовала за ними в час исхода. Бесспорно, она познала уже не одного мужчину, и все же Моисей взял ее себе в наложницы. В своем роде она была великолепно — бугры груди, сверкающие белки глаз, толстые вывороченные губы, целуя которые не знаешь, что ждет тебя дальше, и хмелящая кожа. Моисей крепко к ней привязался, ибо она приносила ему отдохновение, и не в силах был расстаться с нею, хотя столкнулся с враждою всего своего дома — не только жены-мидеанитки и ее сыновей, но, в частности и в особенности, с враждою названных сестры и брата, Мариам и Аарона. И в самом деле, Сепфора, в которой было много от светскости ее брата Иофора, как-то примирялась с соперницей, прежде всего потому, что та держала в тайне свои женские победы над нею и оказывала ей покорность и почтение; она относилась к негритянке скорее с насмешкой, чем с ненавистью, а над самим Моисеем все больше подшучивала, вместо того чтобы дать волю своей ревности. Что касается сыновей, Герсона и Елеазара, которые принадлежали к конному отряду Иошуа, то чувство долга и повиновения было в них слишком сильно, чтобы они могли встать на Моисея мятежом, хоть люди и замечали их досаду и стыд за отца.

Совсем по-иному обстояло дело с Мариам, пророчицей, и с Аароном, умильноречивым. Их ненависть к наложнице-негритянке была куда злее, потому что в той или иной мере она давала выход более глубокой и более общей неприязни, которую они питали к Моисею: уже давно они начали завидовать его близкому общению с Богом, мощи его духа, его избранничеству, видя во всем этом (или почти во всем) одно лишь высокомерие; ибо самих себя они почитали людьми не менее, пожалуй, даже куда более значительными, чем он, и говорили друг другу: «Разве Господь вещает чрез одного Моисея? Разве не вещает он и чрез нас тоже? Кто он такой, этот человек, Моисей, чтобы так возноситься над нами?» Вот что крылось под ударами, которыми они осыпали его связь с негритянкой, и всякий раз, как они бранили и упрекали брата, и заставляли его страдать, поминая усладу его ночей, эти упреки были лишь отправною точкой для дальнейших обвинений; и они не заставили себя ждать — обвинения в обидах, которые чинит им его величие.

Однажды, когда день угасал, они сидели в шатре Моисея и настойчиво бубнили все о том же, о чем, как я говорил, бубнили беспрестанно: негритянка и опять негритянка, и что он прилепился к ее черным грудям, и что это срам, позор для Сепфоры, его первой жены, и

унижение для него самого, — ведь он притязает быть владыкой милостью божией и единственными устами Иеговы на земле.

— Притязую? — переспросил он. — Чем Бог повелел мне быть, то я и есмь. Но как это недостойно, как гнусно с вашей стороны завидовать радости и отдохновению, которые я нахожу на грудях моей негритянки. Да и не грех это перед Господом и среди всех запретов, которые он мне внушил, нет запрета, возбраняющего спать с негритянкой. Я такого не знаю.

— Ну, разумеется, — сказали они. — Ведь ты выбираешь запреты по собственному вкусу и скоро, наверно, так и заявишь, что спать с негритянками нарочито заповедано, — ведь ты считаешь себя единственными устами Иеговы. А между тем законные дети — мы, Мариам и я, Аарон, прямые отпрыски Амрама, потомка Леви,[24 - Леви — один из сыновей Иакова, по преданию, родоначальник священнослужителей левитов.] а ты в конце концов — всего лишь найденыш. Так наберись же смирения, ибо в том, как упорно ты цепляешься за свою негритянку, оказывают себя только твое чванство и высокомерие.

— Кто может быть в ответе за свое призвание? — возразил он. — И кто может быть в ответе за то, что набрел на пылающий терновый куст? Мариам, я всегда ценил твой пророческий дар и никогда не отрицал, что ты бьешь в литавры, как...

— Почему же тогда ты запретил мне петь мой гимн «Коня и всадника», — перебила она, — и не велел ходить с литаврами в хороводе впереди женщин, уверяя, будто Бог выговаривал своему воинству за то, что оно радовалось гибели египтян? Это было подло с твоей стороны!

— А тебя, Аарон, — продолжал теснимый ими Моисей, — я назначил первосвященником при скинии завета и дал тебе ковчег, ефод и медный жезл, чтобы ты их хранил. Вот как я ценил тебя!

— Меньше и сделать было нельзя, — заметил Аарон, — ибо без моего красноречия никогда бы ты не приобрел этот народ для Иеговы и никогда твое косноязычие не подвигло бы его на исход. А еще зовешь себя человеком, который вывел нас из Египта!.. Если ты и в самом деле нас ценишь и не превозносишь себя над законными братом и сестрой, почему ты тогда ожесточил свое сердце против всяких увещаний и не желаешь прислушаться к нашим словам, когда тебе говорят, что ты подвергаешь опасности весь Израиль своим черным волокитством? Ведь оно — горче желчи для Сепфоры, твоей жены-мидеанитки, и ты оскорбляешь весь Мидеан, так что твой шурин Иофор еще пойдет на нас войной. А все по милости твоей черной причуды.

— Иофор, — отвечал Моисей с великим самообладанием, — рассудительный, искушенный в делах света владыка, и он, конечно, поймет, что Сепфора — почтение имени ее! — уже не в силах принести необходимое отдохновение такому человеку, как я, удручаемому заботами и обремененному тягостным наказом. А кожа моей негритянки — словно корица и гвоздичное масло в ноздрях моих, я прилепился к ней всем моим сердцем, а потому прошу вас, друзья, оставьте ее мне!

Нет, ни за что! С громкими криками они требовали, чтобы он не только расстался с негритянкой, не только прогнал ее со своего ложа, но и выслал в пустыню без капли воды.

И тут вздулась у Моисея жила гнева, и яростно затряслись его кулаки на руках, плотно прижатых к бедрам. Но прежде чем он успел открыть рот и ответить хоть слово,

случилось совсем иное трясение — вмешался Иегова, он обратил свое лицо против жестокосердых брата с сестрою и так заступился за раба своего Моисея, что те не забыли этого до конца жизни. Случилось нечто ужасное и доселе небывалое.

XVII

Сотрясались основы. Земля колебалась, уходила из-под ног, так что нельзя было удержаться на месте, а стойки шатра зашатались как под ударами гигантских кулаков. Твердь клонилась не на одну только сторону, но каким-то странным, непостижимым образом — на все стороны сразу; это было ужасно, а вдобавок под землю что-то рычало и выло, и сверху и отовсюду слышался трубный звук, будто затрубили в огромную трубу, доносился гром, гул, треск. Редкостное, необычное чувство, даже стыдно как-то становится: ты сам был готов вспыхнуть гневом, а Господь упредил тебя и вспыхнул гневом, несравненно сильнейшим, и вот потрясает целый мир, меж тем как ты бы потрясал лишь собственными кулаками.

Моисей испугался и побледнел меньше остальных, потому что во всякое время ждал встречи с Богом. Вместе с Аароном и Мариам, насмерть перепуганными и мертвенно-бледными, он выбежал из дома; тут они увидели, что земля разинула свою пасть и прямо перед шатром зияет широкая расселина, очевидно нацелившаяся на Мариам и Аарона, — лишь на два, три локтя промахнулась она, иначе бы земля их поглотила. И еще увидели: гора на востоке, за песками пустыни, Хорив, или Синай... ах, что же это случилось с Хоривом, что произошло с горой Синаем?! От подошвы до вершины она окуталась дымом и пламенем и с глухим грохотом метала в небо раскаленные обломки скал, а по склонам ее бежали вниз огненные потоки. Черное облако над нею, в котором сверкали молнии, затмило звезды над пустыней, и пепел медленным дождем начал падать на оазис Кадеш.

Аарон и Мариам поверглись ниц: они застыли от ужаса, увидев предназначавшуюся для них расселину. Явление Иеговы на горе заставило их понять, что они зашли слишком далеко и вели безумные речи. Аарон воскликнул:

— Ах, господин мой, эта женщина, сестра моя Мариам, несла отвратительный вздор! Но вонми моим просьбам, и да не останется на ней грех ее, коим она согрешила перед помазанником господним!

И Мариам тоже закричала, обращаясь к Моисею:

— Господин, брат мой Аарон говорил так глупо, что глупее уже и не скажешь! Прости ему, и да не останется грех его на нем, дабы Господь не поглотил его за то, что он так гнусно попрекал тебя твоей негритянкой!

Моисей был не совсем уверен в том, что откровение Иеговы обращено к бессердечным брату с сестрой; быть может, просто случилось так, что именно теперь Господь решил призвать его к себе, дабы поговорить о народе и о тяжком труде ваятеля, — такого призыва он ждал с часу на час. Однако он не стал их разубеждать и ответил:

— Вот видите! Впрочем, мужайтесь, дети Амрама, я замолвлю за вас словечко перед Господом там, на горе, куда он зовет меня. Теперь вы убедитесь и весь народ убедится, растлило ли вашего брата черное беспутство или дух божий живет в его сердце, как ни в одном другом. Я взойду на эту огненную гору, взойду к Богу совсем один, чтобы выслушать его мысли и думы и бесстрашно, как равный с равным, беседовать со

Страшным, вдали от людей, но об их делах. Ведь я уже давно знаю, что все, чему я учил людей, дабы были они святы перед ним, Святым и Чистым, Бог желает свести воедино; эти-то глаголы, вечные и краткие, эти непререкаемые речения я и принесу вам с его горы, а народ будет хранить их в скинии собрания вместе с ковчегом, ефодом и медным жезлом. Прощайте! Я могу и погибнуть в мятеже божиих стихий, в пламени горы, — это вполне возможно, и с этим нельзя не считаться. Но если я вернусь, из его громов я принесу вам глаголы, вечные и краткие — божий закон.

Да, таково было его твердое намерение, которое он решил исполнить во что бы то ни стало. Ибо для того, чтобы привести к божиему благообразию этот темный сброд, упрямый и жестоковыйный, все время сворачивающий на прежние пути свои, и заставить его убояться заветов, он не видел более действенного средства, нежели самому, в полном одиночестве, приблизиться к ужасам Иеговы, взойти на его гору, изрыгающую пламя, и принести им оттуда непреклонное повеление; тогда, — так думал Моисей, — они подчинятся. И вот, когда они сбежались со всех сторон к его шатру, едва держась на ногах от ужаса при виде всех этих знамений, а также потому, что раздирающие землю толчки повторились еще раз, и в третий раз (хотя и с меньшей силой), он поставил им в упрек обычную их трусость и велел приободриться. Бог призывает его, объявил он, ради них, и он поднимется на гору к Иегове, и если будет на то воля Господа, вернется к ним не с пустыми руками. А они пусть возвратятся в дома свои, и пусть все как один готовятся к выступлению; пусть освящаются и будут святы, и вымоют одежды свои, и не прикасаются к женам своим, ибо завтра им должно выступить из Кадеша в пустыню, и разбить стан против горы, и там ждать его, пока он не вернется к ним со страшного сретения, надо думать — не с пустыми руками.

Так все и происходило, или, вернее, почти так. Ибо Моисей, по своему обыкновению, думал лишь о том, чтобы они вымыли свои одежды и не прикасались к женам. Но Иошуа бен Нун, юный полководец, надумал еще кое-что, столь же необходимое для того, чтобы снялся с места целый народ, и приказал своим людям запастись водою и пищей для многих тысяч, которые выйдут в пустыню. Он не забыл и о службе связи между Кадешем и станом у горы: особый отряд во главе с его поручиком Халевом остался в Кадеше с теми, кто не мог или не хотел тронуться в путь. Остальные же на третий день, когда все приготовления были закончены, с повозками и скотом для убоя двинулись к горе и, пройдя полтора дневных перехода, остановились; там, в почтительном отдалении от дымящегося престола Иеговы, Иошуа воздвиг ограду и строго-настрою, именем Моисея, запретил им подниматься на гору или хотя бы приступать к ее подошве: одному лишь Учителю дано право подходить к Богу так близко, к тому же это опасно для жизни, а кто ступит на гору, того должно побить камнями или застрелить из лука. Они спокойно выслушали этот запрет: у подлого сброда не было ни малейшего желания близко подходить к Богу, и вид этой горы не манил и не притягивал обыкновенного человека — ни днем, когда Иегова стоял на ней, окутанный густым облаком, в котором сверкали молнии, ни ночью, когда это облако пылало, освещая своим пламенем всю вершину.

Иошуа был бесконечно горд богодухновенностью своего господина, который в первый же день, пред лицом всего народа, пустился в путь к горе — один, пешком, с дорожным посохом в руке, захватив с собою лишь глиняную флягу, два или три хлеба да несколько инструментов: кирку, зубило, шпатель и резец. Юноша гордился Моисеем и радовался впечатлению, которое должно было произвести на толпу это святое мужество. Но он и тревожился за того, кого чтит столь высоко, и горячо умолял его не рисковать, не подходить к Иегове вплотную и остерегаться горячих потоков лавы, сползающей по склонам горы. Впрочем, добавил он, он будет время от времени навещать его там, наверху, и позаботится о том, чтобы Учитель не терпел нужды в этой божией глухомани.

Итак, Моисей шагал по пустыне, опираясь на посох, и его широко расставленные глаза были устремлены на божью гору, которая дымилась, словно печь, и то и дело извергала пламя. Гора была ни с чем не схожа с виду: трещины и жилы опоясывали ее кругом и словно делили на ярусы, или прясла, напоминая собою бегущие вверх тропы, но то были не тропы, а ступени какой-то гигантской желтой лестницы. На третий день призванный Богом, перевалив через холмы, окружавшие голое подножье горы, оказался у самой подошвы и сразу же начал взбираться вверх; стиснув в кулаке дорожный посох и крепко упираясь им в землю, он поднимался без дорог и тропинок, продираясь сквозь ошпаренный кипятком, почерневший от копоти кустарник, час за часом, шаг за шагом, все выше, все ближе к Богу, насколько хватало человеческих сил, ибо мало-помалу сернистые испарения расплавленных металлов, наполнявшие воздух, стали перехватывать ему дыхание, он судорожно кашлял и никак не мог откашляться. И все же он добрался до верхнего яруса, до террасы под самой вершиной, откуда открывался широкий вид на голые, дикие цепи гор, тянувшиеся справа и слева, и на пустыню вплоть до Кадеша. И стан народа виднелся вблизи, крохотный, глубоко внизу.

Здесь задыхающийся от кашля Моисей нашел пещеру в отвесном склоне, ее выступавший вперед каменный навес мог защитить его от падающих обломков и жидкой лавы; в этой пещере он расположился, чтобы после краткого отдыха приступить к работе, возложенной на него Господом, которая в этих тяжелых условиях (испарения металлов тяжело давили ему грудь и даже воде сообщали какой-то серный привкус) не могла занять менее сорока дней и сорока ночей.

Но почему так много? Пустой вопрос! Глаголы, вечные и краткие, непререкаемо связующий нравственный закон Бога должно было утвердить и запечатлеть в камне божией горы, дабы Моисей мог принести его в стан у подножья, где ждал подлый сброд, ненадежная, легкомысленная толпа — кровь его убитого отца, и воздвигнуть среди них на веки веков этот отстой человеческого благоприличия, нерушимый, запечатленный не только в камне, но и в их душах, в их плоти и крови. Из глубины его собственной груди Бог громко приказал ему вырубить из склона горы две доски и начертать на них непреклонное господне повеление — пять речений на одной и пять на другой доске, всего десять речений. Вырубить и выровнять доски, сделать их хоть сколько-нибудь достойными носителями глаголов вечных и кратких было делом немалым: для одного человека, пусть даже вскормленного молоком дочери каменотеса и наделенного могучими запястьями, то была работа, чреватая многими неудачами и бесплодными попытками, которая сама по себе потребовала десяти дней из сорока. Но установление письменности[25 - ...установление письменности... — речь идет здесь об изобретении фонетического письма, которое предание приписывает Моисею, в противоположность существовавшему у семитических племен пиктографическому письму изображений и идеографическому письму понятий — египетским иероглифам и ассиро-вавилонской клинописи.] было такой задачей, которая легко могла бы увести далеко за сорок число дней, проведенных Моисеем на горе господней.

В самом деле, как должно было ему писать? В фиванском училище он постиг нарядные письмена-изображения египтян и их упрощенную скоропись, и священную толчею треугольных клиньев с Евфрата, с помощью которых владыки мира обменивались своими мыслями, занесенными на глиняные черепки. У мидеанитов он узнал еще одно, третье волшебство обозначений: смысл передавали глазки, крестики, жуки, полукружья и всевозможные волнистые линии; эти начертания, имевшие хождение в Синае, по-пустынному коряво воспроизводили египетские картины, но обозначали они не целые слова и понятия, а лишь части их, слоги, которые приходилось собирать воедино. Ни один

из этих трех способов утверждения мысли не годился ему — уже по той простой причине, что каждый был привязан к языку, понятия которого он выражал, а Моисею было совершенно ясно, что ни в коем случае нельзя предать камню десятиглагольное повеление на языке вавилонян или египтян или на жаргоне синайских бедуинов. Лишь на языке отцовской крови можно и должно было сделать это, на том наречии, на котором они говорили и которым он сам нравственно преображал их, — не важно, смогут ли они прочесть повеление божие или нет. Впрочем, конечно же нет: ведь неизвестно еще, как это написать, и не существует никакого волшебства обозначений для их речи.

Всей душою жаждал Моисей подобного волшебства — такого волшебства, которое они сумели бы уразуметь сразу, сейчас же, которое бы их детский разум усвоил за несколько дней, и стало быть, такого, которое за те же несколько дней был бы способен открыть и изобрести человек, одушевляемый божьею близостью. Ибо нужно было изобрести и открыть письменность, доселе не существующую.

Какая неотступная и мучительно сложная задача! Он не предвидел заранее всю ее сложность, лишь одна мысль владела им: «Написать!» — но он не подумал о том, что невозможно просто так, безо всякого, взять да и написать. Желания целого народа клокотали в нем, и голова пылала и словно дымилась, как печь и как вершина Святой горы. Ему чудилось, будто от его головы исходит сияние и надо лбом поднимаются рога — от напряженности желания и от простоты озарения. В самом деле, он не мог придумать знаки для всех слов, которые были в ходу у крови его отца, или для слогов, из которых складывались эти слова. Хоть и скуден был запас слов у тех, что расположились станом внизу, все равно начертаний получилось бы слишком много, так много, что за несколько скупых отмеренных дней на горе и не придумаешь, а главное — невозможно будет быстро выучиться читать и разуметь их.

И он поступил иначе, и рога вздымались над его лбом от гордости за божественную догадку. Он собрал все звуки, которые рождались на губах, на языке, на нёбе и в гортани, и исключил из них те немногие, что произносились открыто и пусто, те, что в окружении других звуков попеременно встречались в словах и лишь благодаря этим другим становились словами. И обрамляющих шумных звуков оказалось не слишком много — не больше двадцати. И, связавши их со знаками, которые, по уговору, призывали бы чмокать или цокать, лепетать или бормотать, шипеть или свистеть, можно было соединять их в слова, обходясь без помощи главных звуков, что возникали сами собою, соединять в любые, во все слова, какие есть на свете, не только в языке отцовской крови, но во всех языках. Даже по-египетски и по-вавилонски можно было ими писать.

Божественная догадка! Идея с могучими рогами! Она напоминала того, от кого она исходила, — Незримого и Духовного, того, кому принадлежал целый мир и кто, хоть и избрал среди прочих кровь, что разбила стан у подножья, был властителем всех земель. Вдобавок она наилучшим образом отвечала той ближайшей и неотложной цели, ради которой и из которой она родилась, — тексту досок, непрерываемо связующим речениям. Ибо хотя они прежде всего были обращены к крови, которую Моисей вывел из Египта, потому что общую с Богом любовь испытывал он к этой крови, но горсточкою изобретенных им знаков можно было, в случае надобности, записать слова всех языков, а Иегова — Бог целого мира, и, стало быть, краткие глаголы, которые задумал написать Моисей, способны стать уставом и основой человеческого благоприличия для всех народов земли — повсюду.

И вот, с пылающей головою, он приступил к испытанию: своим резцом он набросал на скале знаки, которым научился в Синае, знаки, отныне предназначавшиеся для звуков гудящих, жужжащих и ворчащих, рокочущих и клокочущих, льющихся и рвущихся, и когда он собрал их вместе и каждому задал особый, отличный от другого урок — гляди-ка! —

ими можно было описать и записать целый мир, осязаемое и неосязаемое, деяние и помышление, — одним словом, всё.

И он писал, точнее говоря — рубил, долбил и резал ломкий камень досок, которые стал высекать сразу вслед за тем, как поднялся; их мучительное рождение на свет шло рука об руку с рождением букв. Можно ли дивиться тому, что это заняло все сорок дней без остатка?

Несколько раз его навещал Иошуа, его юноша, приносил ему воды и лепешек; народу было вовсе незначительно об этом знать, ибо люди думали, что Моисей живет там, наверху, одною лишь близостью Бога и его речами, и Иошуа, с дальновидностью полководца, хотел оставить их при этом мнении. Вот почему он приходил ненадолго и только почью.

А Моисей с той минуты, когда свет дня занимался над Эдомом, и пока он не угасал за краем пустыни, сидел и работал. Представьте себе: вот он сидит там, наверху, обнаженный по пояс, с заросшею волосами грудью и могучими руками, унаследованными от поруганного отца, с широко расставленными глазами, перебитым носом и раздвоенной, поседевшей бородой, жуёт лепешку, то и дело кашляет, вдыхая металлические испарения горы, и в поте лица своего рубит, обтесывает и выглаживает доски; вот он прислоняет их к скале, садится перед ними на корточки и старательно, чуть не надрываясь от усердия, погружает в камень свои каракули — эти всемогущие руны, — сначала нацарапав их резцом на поверхности.

Он написал на одной доске:

Я, Иегова, — Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицом моим.

Не сотвори себе кумира и изображения бога.

Не произноси имени моего всуе.

Помни день мой, чтобы свято блюсти его.

Почитай отца твоего и мать твою.

А на другой доске он написал:

Не убий.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не чини обиды ближнему твоему лжесвидетельством.

Не обращай алчных взоров на достояние ближнего твоего.

Вот что он написал, опуская те звуки, что выговаривались пусто и открыто, — они были

понятны сами собой. И все время ему казалось, будто над прядью волос, падающей на его лоб, поднимаются два луча, словно пара рогов.

Когда Иошуа пришел на гору в последний раз, он оставался там дольше обычного — целых два дня: Моисей еще не управился со своим делом, а они хотели спуститься вместе. Юноша искренне восхищался работой учителя и утешал его, видя, что иные литеры осыпались и стали неразборчивы, к великому огорчению Моисея и вопреки всей любви и старанию, какие были на них затрачены. Но Иошуа уверил его, что общее впечатление от этого нисколько не пострадает.

Под конец, на глазах у Иошуа, вот еще что сделал Моисей: чтобы углубленные буквы резче выделялись на камне, он расцвел их своею кровью. Никакой другой краски под руками не было, и он рассек резцом свою могучую руку и выступившую кровь старательно втер в литеры, так что они стали отсвечивать красным. Когда надписи просохли, Моисей взял под мышки по доске, отдал посох, с которым пришел сюда, Иошуа, и бок о бок они зашагали вниз, к стану, что был разбит в пустыне у подножья горы.

XIX

Когда они были уже недалеко от шатров народа, какой-то шум донесся до их ушей — глухой, прерывающийся взвизгами. Оба были в полном недоумении, и хотя Моисей слышал его раньше, первым заговорил Иошуа:

— Ты слышишь этот странный крик, гул, завывания? Если только я не ошибаюсь, там идет драка, кулачный бой. И, должно быть, все они передрались не на шутку, раз их слышно даже здесь. Коли так, хорошо, что мы возвращаемся.

— Что мы возвращаемся, — ответил Моисей, — во всяком случае хорошо, но, насколько я могу различить, это совсем не потасовка и не свалка, а празднество с пеньем и плясками. Разве ты не слышишь пронзительных выкриков и грохота литавр? Что это взбрело им на ум, Иошуа? Пойдем скорее!

С этими словами он подхватил обе доски повыше и зашагал быстрее вместе с Иошуа, недоуменно качавшим головою. «Пляска... пляска...» — повторял он сначала просто с тяжестью на сердце, а потом и с нескрываемым испугом, ибо скоро не осталось никаких сомнений, что это не схватка, когда один одолевает, другой же терпит поражение, а ликующее единодушие, и непонятно лишь, что это за единодушие, которое исторгает у них такой радостный вой.

Но скоро и это сделалось понятно, если только не было понятно уже и раньше. Страшное зрелище ждало их! Когда Моисей и Иошуа пробежали под высокой перекладной ворот, оно открылось им во всей своей бесстыдной недвусмысленности. Народ сорвался с цепи. Они сбросили все, что Моисей, освящая их, возложил им на плечи, все благообразие божие, и копошились в омерзительном отступничестве.

Сразу за воротами была площадь, свободная от шатров, площадь Собрания. Туда они сошлись, там творили свое отступничество и копошились в нем, там праздновали подлую, убогую свободу. Перед тем как пуститься в пляс, все нажрались до отвала, это было заметно с первого взгляда, повсюду на площади виднелись следы убоя и обжорства. Кому же приносили жертвы, в честь кого били скот и обжирались? Оно стояло тут же. Посреди площади на камне, на цоколе алтаря, стояло оно — изображение, топорная поделка, гнусный идол, золотой телец.

Нет, то был не телец, то был бык, обыкновенный, доподлинный, истекающий семенем бык, как у языков земли. Тельцом он только звался, потому что был невелик, скорее даже мал, да и вылит скверно и смехотворен с виду — неуклюжая пакость! — но все же был еще слишком «хорош» для того, чтобы не узнать в нем быка. Вокруг идола ходил многолюдный хоровод, с добрый десяток колец; мужчины и женщины, сцепившись рука в руку, двигались под звон кимвалов и бой литавр, головы задраны кверху, глаза закатились, колени вскинута чуть не до подбородка, визг, пронзительные стоны, дикие жесты. Кольца мчались навстречу друг другу — один позорный круг все время направо, другой налево; а посреди этой круговерти, перед тельцом, скакал Аарон в длинном одеянии с рукавами, которое он носил как хранитель skinsии завета, а теперь высоко подобрал, чтобы ловчее было вскидывать длинные волосатые ноги. А Мариам была в литавры, предводительствуя женщинами.

Так вились они вокруг тельца. А поодаль творилось и вовсе несусветное; тяжело рассказывать о том, как низко пал народ. Одни ели медянок. Другие, не таясь, ложились с сестрой и кровосмесительствовали — во славу тельца! Третьи облегчались где придется, забывши про лопатку. Мужчины истребляли свою силу в честь Молоха. Кто-то нещадно колотил родную мать.

При страшном этом зрелище жилы на лбу Моисея вздулись так, что едва не лопнули. Лицо его побагровело, он разорвал кольцо хоровода, — хоровод, неуверенно покачиваясь, остановился, а его преступные участники вытаращили глаза и смущенно заухмылялись, узнав Учителя, — и бросился прямо к тельцу — семени, источнику и отродью преступления. Могучими руками он высоко поднял одну из скрижалей закона и обрушил ее на смехотворную скотину, так что ноги у быка подломились, ударил снова и на сей раз с такой силой, что доска разлетелась на куски, но зато и кумир превратился в бесформенную массу; потом взмахнул другой скрижалей и до конца разделался с мерзостью, стер ее в прах, и так как вторая доска была все еще цела, он разнес вдребезги и ее, грохнув о каменный цоколь. Потрясая кулаками, он стоял среди обломков, и стон вырвался из самой глубины его сердца:

— Ты, подлый сброд, ты, Богом забытый! Вот лежит то, что я принес тебе с горы от Бога, то, что он написал собственной рукой, чтобы дать тебе талисман против бедствия невежества! Вот оно лежит, разбитое и расколотое, рядом с остатками твоего кумира! Что теперь мне делать с тобой, что сказать Богу, дабы он не пожрал, не истребил тебя?

Тут он заметил, что Аарон, прыгун, стоит рядом с ним — долговязый, застенчивый, с потупленным взором и сальными локонами, падающими на шею. Он схватил его за грудь, встряхнул и закричал:

— К чему здесь эта пакость, этот золотой Белиал?[26 - Белиал — одно из имен дьявола, сатаны; олицетворение всякого нечестия и беззакония.] Чем провинился перед тобой этот народ, что ты губишь его такой страшной гибелью, пока я говорю с Богом на горе, да еще сам управляешь треклятым хороводом?

Но Аарон отвечал:

— Ах, дорогой господин мой, не попусти своему гневу пасть на меня и на мою сестру: мы вынуждены были уступить. Ты ведь знаешь — это злой народ, они нас заставили. Ты ушел и пробыл на горе целую вечность — вот мы все и решили, что ты уже никогда не вернешься. И народ окружил меня и принялся вопить: «Никто не знает, что случилось с Моисеем, этим человеком, который вывел нас из Египта. Он не вернулся. Наверно, гора пожрала его своей пастью — тою, что плюется огнем. А ну-ка, сделай нам богов, которые

шли бы перед нами, если нагрянет Амалик! Мы такой же народ, как все другие, и хотим ликовать перед богами, и чтобы боги у нас были такие же, как у других людей!» Так они говорили, господин мой, потому что — прости мне эти слова — верили, что избавились от тебя. Ну скажи сам, что мне оставалось делать, когда они обступили меня кольцом? Я велел всем вынуть из ушей золотые серьги и принести мне, расплавил золото, сделал форму, отлил тельца и дал им в боги.

— Да и отлил-то совсем непохоже, — презрительно вставил Моисей.

— Времени было в обрез, — возразил Аарон, — уже на следующий день, то есть сегодня, они желали учинить ликование перед всеильными богами. Поэтому я вручил им отливку (какое-то сходство в ней все же есть, этого ты не можешь отрицать), и они радовались и говорили: «Вот твои боги, Израиль, которые вывели тебя из Египта». И мы воздвигли алтарь, и они принесли всеожжения и заклали мирные жертвы, и ели, а потом немного поиграли и поплясали.

Моисей бросил его и сквозь распавшийся хоровод ринулся назад; остановившись рядом с Иошуа под пролетом ворот, он закричал что было силы:

— Кто верен Господу — ко мне!

И немало людей стеклось к нему, те, что были здоровы сердцем и неохотно примкнули к боунам; и вооруженные юноши Иошуа обступили обоих.

— Несчастные, — сказал Моисей, — что вы натворили, и как мне теперь искупить ваш грех перед Иеговой, чтобы он не отверг вас за неисправимую жестоковыйность и не пожрал?! Сделать себе золотого Белиала, едва лишь я отвернулся! Позор вам и мне! Вы видите обломки — я говорю не об обломках тельца, чума их возьми! Я говорю о других обломках! Это дар, который я вам сулил и принес вам с горы, глаголы вечные и краткие, основа благоприличия. Это десять речений, которые я написал для вас у Бога на вашем языке, написал моею кровью, кровью отца моего, вашею кровью написал я их. А теперь от них остались одни осколки.

Услышав это, многие заплакали, и громкие всхлипывания вперемежку со сморканием огласили площадь.

— Может быть, потерянное удастся возместить, — продолжал Моисей. — Ибо Господь долготерпелив и многомилостив и прощает преступления и провинности, и никого не оставляет ненаказанным, — загремел он вдруг, и кровь прилила у него к голове, и жилы на лбу снова вздулись так, что, казалось, вот-вот лопнут, — но до третьего и четвертого колена, говорит он, я караю преступление, ибо я — ревнитель, Ревнитель имя мне. Здесь будет твориться суд, — воскликнул он, — и очищение кровью, ибо кровью был написан закон. Выдайте зачинщиков, которые первые стали кричать про золотых богов и нагло утверждали, будто телец вывел вас из Египта, меж тем как это сделал я, только я... говорит Господь. Они — добыча Ангела-губителя, кто бы они ни были. Их должно побить камнями до смерти и застрелить стрелами, всех, хотя бы их набралось и три сотни! Остальные же пусть совлекут с себя все украшения и пребывают в скорби и печали до тех пор, пока я не вернусь, ибо я снова взойду на гору божию и погляжу, в силах ли я еще хоть что-нибудь для тебя сделать, жестоковыйный народ!

Моисей не присутствовал при казнях, которые он приказал учинить из-за тельца, то было дело решительного Иошуа. Сам он, покуда народ скорбел, был снова на горе, перед своей пещерой, подле гудящей вершины, и опять провел сорок дней и сорок ночей один среди чадных испарений. Но почему опять так долго? Ответ гласит: не только потому, что Иегова повелел ему еще раз вытесать доски и снова написать на них непреложное повеление, — на этот раз дело шло немного быстрее, ибо у него уже был какой-то навык, а самое главное — были уже придуманы письмена; но и потому еще, что ему пришлось выдержать с Господом долгую борьбу, прежде чем Господь дал изволение возобновить скрижали, настоящий бой, в ходе которого гнев и милосердие, усталость и любовь к начатому делу попеременно оттесняли друг друга, а Моисею пришлось призвать на помощь все свое искусство убеждения и все разумные доводы, чтобы Бог не объявил завет расторгнутым и не отрекся от подлого сброда, упрямого, жестоковыйного, или — еще того хуже — не разнес его на куски, как поступил ослепленный яростью Моисей со скрижалями закона.

— Нет, я не пойду впереди них, — говорил Бог, — и не введу их в землю отцов, лучше не проси меня об этом. Терпение мое иссякло. Пламенный ревнитель я, и ты увидишь: настанет день, когда не смогу долее сдерживать себя и пожру их посреди пути.

И он предложил Моисею: истребить народ, который, видно, отлит был неудачно, подобно золотому тельцу, и который уже ничем не исправишь и не сделаешь святым народом, под самый корень подсесть Израиль, а его самого, Моисея, превратить в великий народ и с ним поставить завет свой. Но этого Моисей не пожелал и ответил:

— Нет, Господи, прости им их прегрешения; а если не простишь, то истреби и меня, изгладь из книги твоей, потому что я этого не переживу и ни один народ не будет для меня свят, кроме них.

И он воззвал к чести божией и сказал:

— Вот что представь себе, Святой: если ты убьешь этот народ, как убивают человека, идолопоклонники услышат крик и скажут: «Ха! Господь не в силах был привести этот народ в ту землю, которую даялся им отдать, не мог, да и все тут; вот он и перебил их в пустыне». Неужли ты допустишь, чтобы языки земли так о тебе говорили?.. Потому яви лучше могущество и всю силу господню и окажи снисхождение преступному этому народу по великой милости твоей.

Именно этим доводом он одолел Бога и склонил его к прощению, с одним, однако, условием: что из нынешнего поколения ни один не узрит земли отцов, кроме Иошуа и Халева. «Детей ваших, — решил Господь, — я туда введу, но те, что уже перешли за двадцатый свой год, да не узрят ее никогда — тела их обречены пустыне».

— Хорошо, Господи, да будет так, — отвечал Моисей. Ибо этот приговор несколько не противоречил его собственным намерениям и намерениям Иошуа, и дальше спорить было незачем. — Теперь дозвожь мне сделать новые скрижали, чтобы я мог отнести людям твои краткие глаголы. В конце концов это даже хорошо, что я разбил в гневе те, первые. Не говоря уже обо всем прочем, там было несколько неудачных букв. Я должен тебе признаться, что в глубине души думал и об этом, когда их разбивал.

И снова сидел он (а Иошуа тайком поил его и кормил) и вырубал и обтесывал, выравнивал и выглаживал, — сидел и писал, стирая время от времени со лба пот тыльной стороной руки, высекая надписи на скрижалях, которые вышли даже лучше, чем в первый раз. Потом снова выкрасил буквы своей кровью и спустился вниз, держа закон под мышками обеих рук.

Израилю было сказано, чтобы он воспрял от скорби и снова надел свои украшения, кроме, конечно, серег, которые были употреблены во зло. И весь народ пришел и встал перед Моисеем, дабы он передал им то, что принес с собою, весть от Иеговы с горы, скрижали с десятью речениями.

— Возьми их, кровь отца моего, — сказал он, — и храни их свято в шатре Бога, и то, что гласят они, свято соблюдай в деяниях твоих и воздержаниях, ибо это глаголы краткие, непререкаемо связующие, недвижимая основа благоприличия, и Бог кратко высек их в камне моим резцом — сжатые, скупые, альфу и омегу человеческого поведения. На вашем языке начертал он их, но знаками, коими можно писать на языке любого народа, ибо он — владыка всех земель, и посему алфавит — его достояние, и речи его, если даже они обращены к тебе, Израиль, суть речи для всех.

В камне горы я запечатлел алфавит человеческого поведения, но еще в плоти и крови твоей, Израиль, да будет он запечатлен, чтобы всякий, кто нарушит хоть единое слово из десяти заповедей, втайне ужаснулся перед самим собою и перед Богом, и сердце его да застынет от страха, ибо он преступил границы божии. Я знаю и Бог знает заранее, что заповеди его не будут соблюдаться и против речений его будут погрешать всегда и повсюду. Но по крайней мере да заледенеет сердце у всякого, кто станет их нарушать, ибо не на скрижалях только — в плоти и крови его они начертаны, и он знает: речения Бога сохраняют свою силу.

Но проклятие тому человеку, который встанет среди вас и скажет: «Они утратили силу». Проклятие тому, кто будет вас учить: «Отриньте их! Лгите, убивайте и грабьте, распутничайте, насилюйте, предавайте мечу отца и мать — это свойственно человеку; и славьте имя мое, ибо я возвестил вам свободу». Тому, кто воздвигнет тельца и скажет: «Вот ваш бог. В его честь творите все это и ходите в разнузданных хороводах вокруг идола». Он будет очень силен, будет восседать на золотом троне и почитаться за мудрейшего из мудрых, ибо постигнет: помыслы человеческого сердца злы от юности его. Но это будет все, что он постигнет, а кто постиг лишь это и ничего больше, тот глуп, как ночь, и лучше бы ему вовсе не родиться. Да, потому что он не знает и не догадывается о завете меж Богом и человеком, который никто не в силах расторгнуть, ни человек, ни Бог, ибо он нерасторжим. Потoki крови прольются по вине его черной глупости, столько крови, что румянец сбежит со щек человечества; но однажды люди свалят негодяя, свалят непременно, — иначе быть не может. И подниму стопу мою, говорит Господь, и втопчу его в грязь — глубоко в землю втопчу богохульника, на сто двенадцать сажений, и человек и зверь пусть обходят то место, где я втопчу его в землю, и птицы небесные пусть сворачивают в высоком своем полете, дабы над ним не пролетать. А кто назовет его имя, тот пусть плюнет на все четыре стороны и оботрет себе рот и скажет: «Сохрани и помилуй!» Чтобы земля вновь была землей — юдолью скорби, да, но не свалкой для падали. Отвечайте же все — аминь!

И весь народ ответил: «Аминь!»

Примечания

патриарха Авраама.

2

Иегова — первоначально бог-покровитель племени Иуды, а также некоторых других родственных ему кочевых племен, дух пустыни, обитавший на вершинах гор. Впоследствии — верховное божество в иудаизме, символ национальной идеи древних иудеев при завоевании ими земли Ханаанской.

3

Гошен — округ в северо-восточном Египте, который, по библейскому преданию, был отведен фараоном для поселения отца и братьев Иосифа по прибытии их в Египет [Библия, Книга бытия, XV, 10].

4

...дочери солнца — в древнем Египте фараон считался земным воплощением бога солнца и назывался «сыном Ра».

5

Саргон I (Шаррукин, около 2800 г. до н. э.) — древний царь Аккада в Вавилонии, завоеватель северной Месопотамии, объединивший под своей властью Южное Двуречье. Здесь имеется в виду легенда об его происхождении, напоминающая библейское предание о Моисее: мать Саргона пустила младенца в осмоленной корзинке по течению реки, где его нашел и воспитал жрец.

6

Птах — древнеегипетское божество, владыка подземного мира и судья мертвых, покровитель ремесл и искусств, основатель городов и храмов; культ его впервые возник в Мемфисе.

7

Амон, или Аммон — бог солнца, которому поклонялись в Фивах. В эпоху XXI династии фиванские первосвященники Аммона захватили царскую власть и объявили Аммона верховным божеством Египта.

8

Ра (или Тум) — одно из главных божеств древнеегипетской религии, олицетворение солнечного диска, культ которого распространился из города Он (Гелиополис). Во времена Среднего царства Ра начали отождествлять с Аммоном и чтить под именем Аммона-Ра.

9

...он был «сыном»... — имя Моше, по преданию, искаженное египетское «мессу» — сын.

10

Эдом, или Идумея — гористая часть Аравийской пустыни, в древности населенная племенем эдомитян, по преданию, потомков Исава, сына патриарха Исаака.

11

Рамессу II Строитель («Рамессу» — сын Ра, конец XIV — начало XIII вв. до н. э.) — один из наиболее прославленных египетских фараонов, завоеватель южной Сирии, Палестины и государства хеттов, строитель Рамессума (храма-усыпальницы фараона) и столицы Анахту в Танисе, а также других храмов и дворцов.

12

Питом и Раамсес — укрепленные пограничные города в древнем Египте, служившие складами продовольствия и базами военных операций для фараонов, когда они предпринимали свои походы в Азию.

13

Нун — древнеегипетское космическое божество, олицетворение небесного хаоса, океана, в котором пребывали все живые существа до сотворения мира.

14

...из колена Ефремова — колено это вообще отличалось воинственным духом; впоследствии, при завоевании земли Ханаанской, солдаты для войска израильского вербовались преимущественно из его среды.

15

Кадеш (буквально «святыня») — название многих сирийских городов; здесь — крепость и культурно-политический центр аморреев (амаликитян), расположенный в пустыне.

16

Амалик — по библейскому преданию, внук Исава, родоначальник арабского племени амаликитян, кочевавшего в аравийской пустыне.

17

Кодекс Хаммурапи — древнейший юридический памятник Древнего Востока, высеченный на большом каменном столбе клинописными знаками; составлен по указу вавилонского царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.), законодателя и завоевателя, завершившего политическую и территориальную централизацию Вавилонского государства.

18

...богов Египта — богов-зверей — в древнем Египте существовал культ священных животных (кошка, корова, ибис, ястреб и др.), вследствие чего многие божества, как Озирис, Изида, Гор, Гатор, изображались с головой животного на человеческом туловище.

19

Молох — финикийское божество солнца и огня, которому приносились во всеожжение человеческие жертвы.

20

...не следи за полетом и криком птиц... — имеются в виду гадания жрецов-прорицателей по поведению священных животных и птиц.

21

...не вопрошай мертвых... — некромантия — вызывание теней усопших с целью узнать будущее, — практиковавшаяся жрецами и магами, была широко распространена в древнем мире.

22

Куш — древнеегипетское название Эфиопии.

23

...он жил в то время с одной негритянкой... она попала в Египет еще ребенком... — по преданию, пленная эфиопская царица Фарби.

24

Леви — один из сыновей Иакова, по преданию, родоначальник священнослужителей левитов.

25

...установление письменности... — речь идет здесь об изобретении фонетического письма, которое предание приписывает Моисею, в противоположность существовавшему у семитических племен пиктографическому письму изображений и идеографическому письму понятий — египетским иероглифам и ассирийско-вавилонской клинописи.

26

Белиал — одно из имен дьявола, сатаны; олицетворение всякого нечестия и беззакония.